Борис Машук
ГОРЬКИЕ
ШАНЕЖКИ

Моим дядькам Даниловым —
Алексею Николаевичу, Льву Николаевичу,
Павлу Николаевичу, Петру Николаевичу,
светлой памяти
Ильи Николаевича и Виктора Николаевича
с благодарностью посвящаю

Автор

Борис Машук

ГОРЬКИЕ ШАНЕЖКИ

Рассказы

Хабаровское
книжное издательство
●
Благовещенск
1978

Художник Е. С. СКРЫННИКОВ

Машук Б.

М. 38 Горькие шанежки. Амурское отд. Хабаровского кн. изд., 1978.

192 с. с илл. 30 000 экз. 60 к.

Рассказы о ребятах, живущих на маленькой железнодорожной станции в трудные военные годы, о становлении их характеров, о том, как они в меру сил стремятся заменить ушедших на фронт отцов и старших братьев.

М $\frac{70302}{М160(03)-78}$-78 Р 2

© Хабаровское книжное издательство, 1978

ЗА КИСЛИКОЙ-ТРАВОЮ

Живя на маленьком полустанке, семилетний Шурка Орлов сделал для себя открытие... Он узнал, что зимой жить скучнее, чем летом, а на короткой дороге интересного всегда меньше.

Открыл он это не сразу. Сначала-то времена проходили вроде бы одинаково. И все дорожки для него, четырехлетнего, были длинными и даже опасными. Вот шел он как-то один к озеру по тропке через огород. Тут из картофельной ботвы ка-ак выскочит какой-то зверь с черными полосками на спине и задранным вверх хвостом. Да еще и засвистал-заверещал! Шурка от испуга бросился назад, к дому и к матери, но оступился, шлепнулся на пузо, и тут уж одно спасение оставалось — зареветь во всю силу.

Но то время, когда Шурка бурундуков пугался, давно миновало. Вот уж второй год он живет в доме деда, хорошо изучил ближнюю округу с ее дорожками и дорогами. И теперь делит их на короткие и длинные. Короткие ведут к хорошо знакомому. Одна из них начи-

нается от крыльца. Спускаясь между полосками огорода, приводит она к берегу озера. Эта дорожка тянется всего на сто шагов. Столько насчитал Шуркин дядька Клим, когда стрелял из ружья по мишени.

Ну, про дорожку до стайки, где живут корова Белянка, бык Пушкарь, кабанчик Васька и табушок канительных куриц, и говорить нечего. В ней и тридцати шагов не наберется. То ли она есть, то ли нет ее вовсе. Да еще посредине этого пути кладовушка с дровами, около нее козлы и огромный, затюканный топорами, чурбак.

Шуркин дед — пенсионер-железнодорожник — жил за линией, где всего два дома стояло: самого деда и еще казенный, на две половины. Одну половину занимали Ломовы, другую — Варнаковы. Остальные жили по другую сторону пути. В одном месте из-за насыпи поднималась крыша длинного станционного здания, а в другом — крыши других трех домов, называемых вместе почему-то казармой.

Туда-то, к станции и казарме, от дедова двора вели еще две короткие дорожки. По одной ходили к поезду и колодцу, по другой — со следами тележных колес — добирались до переезда через линию и к широкой песчаной дороге между полустанком и деревней, стоящей на покатом бугре вдоль пади с озерами и речкой Безымянкою посредине.

Широкая эта дорога вначале была длинной для Шурки. Года полтора назад, вместе с бабушкой, которая видела плоховато, сходил он по этой дороге в деревню. С той поры запомнил шаткий мосток через речку, гудящие трактора на машинном дворе колхоза, густые черемуховые сады у деревенских домов и две высокие, как семафоры, лиственницы у ворот охотника Романа Пронова — хорошего знакомого Шуркиного деда. Долгое было путешествие.

А теперь он и эту дорогу короткою называет. Привык: целый год бегал по ней в деревенскую школу. Правда, в осенние холода и зимой она не всегда бывала короткой. Особенно когда ветер. Против него пока до школы дотопаешь — нос синей сливой становится. Но как только крепчал лед, Шурка вместе со своим одноклассником Петькой Варнаковым и дружками со станции бегал в школу прямиком через озеро.

На этом Шуркины дороги, считай что, кончались. Отчего другой раз скучно ему бывало. Двух лет не прожил у деда, а все вроде бы знает. И чего не знать-то? Озеро с речкою рядом. До станции или на казарму за три минуты добежать можно. А там и каждое крылечко известно, и тополя, что дома окружают, почти все знакомы в лицо. У одного, вон, дуплина до самого комля протянулась, у другого нижняя ветка засохла и на ней устроили качели на толстых веревках... Есть тополь, на котором воробьишки всегда собираются, а у самого большого дерева корни широко раскинулись и выступают из земли, как вены на темных руках Шуркиного деда.

На станции и на казарме, понятное дело, много чего интересного бывает. Там ребятишек полно, разные люди приезжают и уезжают, местный поезд останавливается. Но вот хотелось Шурке дойти до конца широкой дороги. Она проходила через переезд и, разделяя дома, утягивалась за покосы. Для Шурки дорога кончалась у ближних кустарников на равнине. Но прошлым летом, играя с дружками, забрался он на чердак казармы. Глянул оттуда и, удивленный, даже затих. Дорога-то, оказывается, у тех кустов не кончалась. Да и многое там не кончалось: ни небо, ни покосы, ни сами кусты. За ними лес начинался и сопки, спины которых поднимались одна за другой, будто в том месте разлеглись на отдых большие коровы. В те сопки и уползала дорога. Оттуда в тихие дни до полустанка долетали глухие раскаты. Слыша их, Шурка сперва оглядывался, отыскивая глазами грозовую тучку, но потом ему объяснили, что это стреляют за лесом и сопками, на танковом учебном полигоне.

Были и другие длинные дороги, не хоженные Шуркой. Одна, узкая — в тележный след, — начиналась за стайками у казармы и, сворачивая, уводила к Телковой заимке. Другая тянулась вдоль линии. В западной стороне она запутывалась в улицах большой станции Узловой, а пробираясь на восток, огибала выемку с рельсами и, петляя между сопками, подходила к еще одной железнодорожной станции. Поближе начинались делянки колхозников из деревни и огороды, на которых разъездовские сажали картошку, тыкву, фасоль да подсолнухи. В той-то стороне Шуркины дружки со стан-

ции и казармы бывали. А вот Шурке не удавалось никак...

Вообще-то Шурка не скучал. Три молодых, здоровых дядьки окружали его. Двое уже работали, один учился, но для племянника время у них находилось. Вместе с дядьками он и на озере рыбачил, и купался. Ходил с ними за линию, к колодцу с кособокой крышей над срубом. Иногда и на покосе бывал. Помогал он и деду с бабкой. То с тяпкой на огороде, то ошкуривал тонкие жердочки, заготовленные дедом для садовой ограды. Ну а уж за бестолковыми курами смотреть, которые со своими цыплятами все норовили забраться на бабкины грядки, — первая Шуркина обязанность и забота. Конечно, если не считать его учения в школе.

С дедом Шурка ладил, хотя тот, бывало, и поругивал его за самостоятельность. Да и как не ругаться, если он вот топор затупил, а то щипцы с молотком бросил посреди двора, где вместе с Петькой мастерил деревянный танк.

Но все ж даже Петька говорит, что дед у Шурки мировой. Шурка и сам считал, что мировой. Хотя и роста дед не шибко высокого, зато плечи широкие и борода — во всю грудь. Дедова голова совсем седой стала, а лицо к старости потемнело.. Из-под высокого лба с густыми бровями на Шурку смотрели темно-серые, небольшие, но все понимающие глаза.

Шурка никогда не видел деда без дела. То он в саду возится, то у стайки, а то копошится у старой телеги или сани подлаживает. Зимой дед запрягал быка Пушкаря и уезжал в лес за дровами. Возвращался под вечер, с заснеженной грудью и с бородой в сосульках. Шурка влезал к нему на колени и оббирал эти сосульки, стараясь не дергать бороду. Потом дед садился спиной к теплой печке, чтобы отогреть поясницу. Шурка примащивался рядом, и при свете керосиновой лампы у них начинался «мущинский» разговор, как посмеиваясь говорил дядька Клим.

При таком разговоре этой зимой Шурка и спросил о длинных дорогах. Дед рассказал ему, какая куда ведет.

Помянул про полигон, про Телковую заимку, про лес и высокий маяк за деревней, про Дубовую гору, к

которой он за дровами ездит. Даже пообещался и Шурку туда с собой взять.

— Только ты для тех мест подрасти должен, — поглаживая Шуркину голову тяжелой рукой, добавил дед. — На длинные дороги сила нужна и разумение...

— Сколько ж расти еще? — поинтересовался нетерпеливый Шурка.

Дед усмехнулся в бороду, показал на дверной косяк:

— А вот когда макушкой до того сучка доставать станешь — в самый раз будет.

Шурка примерился и огорчился: многовато получалось... Это ж сколько терпения надо, чтобы дорасти до длинных дорог?

...И в это утро просыпался Шурка как обычно — медленно, неохотно. Он еще полежал немного, разглядывая крашеные плахи потолка и широкую балку. Потом, зевая, поднялся. Через пустую переднюю комнату, через кухню с русской печкой и широкие сени вышел на крыльцо, разогретое солнцем. Не увидев никого и во дворе, Шурка спустился с крыльца, сонно хмурясь, пожурчал на траву, оглядывая огород, отцветающие ранетки и весь сад — светло-зеленый от молодых листьев, согреваемых солнцем.

И тут-то, глянув на солнце, Шурка даже подпрыгнул, будто ужаленный, и кинулся в сад. Белея рубашкой, прошмыгнул под черемухами и остановился у края заплота, глядя на дом Варнаковых.

— Пе-еть! — позвал Шурка. — Пе-етька-а!

У дома соседей, рядом с летней печкой, поставленной чуток на отшибе, копошились Варначата. Были тут и старший — Амос, и Петька с Юркой, и еще их малые сестренки — Зинка да Зойка.

Услыхав Шурку, Варначата оставили свое занятие, дружно вздернулись одинаково рыжими головами. Увидев Шурку, Петька встал, подтянул штаны и, сунув руки в карманы, покачал головой.

— Просну-улся! — сразу занасмешничал он. — Я-то вот и мешок приготовил уже. А ты, Шурка, по-городскому все дрыхнешь.

— Погоди, Петька, — заволновался Шурка. — Я счас, я быстро!

— Кончай прохлаждаться! — строгим голосом бригадира пути приказал Петька. — Айда уж...

Ополоснув у рукомойника лицо, Шурка забежал в избу. Налил себе полную кружку молока, отхватил добрый кусок большого калача, что лежал на столе под полотенцем. Торопливо жуя, выглянул в окно. Как он и думал, дед что-то строгал у дровяницы. А бабку Шурка увидел возле стайки. Рассыпая около себя желтое пшено, она кормила наседку с цыплятами.

Дядьки Федора в такой час уже и не могло быть на дворе. Совсем рано уходил он на конюшню, к колхозным коням. А дядька Клим еще из Узловой не приехал. Видно, в поездке, на своем паровозе. А может, в общежитии отдыхает. Там же, в Узловой, и другой дядька — Виктор. Он десятилетку кончает. А это, соображал Шурка, потрудней, чем первый класс одолеть. Шурка — вот уже свободная птица, а дядьке еще экзамены надо сдавать.

Поев, Шурка натянул простенькие, для дома сшитые штаны и тужурку из вельвета, купленную еще покойной матерью. Тужурка уже маловата, но Шурка любил ее из-за карманов. В один он сунул ножик-складешок, в другой — кусок калача.

Отыскивая в сенцах подходящий мешок, Шурка беспокоился, как бы Варнак без него не удул. Тому что... Потом и скажет еще: «А что ж так долго собирался?» И обзовется, поди, засонею городским. С Петьки станется.

Да оно же и так почти все. До позапрошлой зимы Шурка в Узловой проживал. А для Петьки такая станция — уже город. Там и улиц с высокими домами вон сколько, и магазины с базаром, районный кинотеатр, большой сад, депо с паровозами. А путей на самой станции сколько!

Шурка только-только начинал привыкать к жизни в Узловой, но тут умерла мать, и дед с бабкой забрали его сюда. Со всеми вещами, с игрушками и трехколесным велосипедом.

Теперь от тех игрушек только память осталась. Не выдержали они всеобщего ребячьего внимания. И велосипеда с прошлого лета нет. Катались на нем все, да еще по двое старались. Сперва рама прогнулась, потом, как определил Петька, педаль стала проскакивать. Пробовали Шурка с Петькой наладить велосипед, да после ремонта им всего-то по маленькому колесу оста-

лось. Большое прогнулось, и его никто не захотел брать. А из трубчатой рамы, по совету Амоса, они понаделали циркалок, чтобы на озере водой обливаться.

За тот «ремонт» ох и влетело Шурке от дядек... А Петька катал на проволоке впереди себя велосипедное колесо и к Шурке больше недели не показывался, чтоб и ему не перепало. Петька хитрый, хоть и росточком маловат, и голова у него, как шляпа у подосиновика, — рыжая вся. Нос у Петьки кверху задран, лицо в конопушках, а глаза шустрые, как сам Петька. Поломать чего, залезть, куда не следует, он всегда первым успеет.

И по длинной дороге, что тянется вдоль линии, Петька уж в оба конца ходил. Разок сам, а разок вместе с Амосом. Носили они обеды отцу — путевому обходчику. Но пока Петька недалеко ходил, а недалеко — это ж никому и не интересно. Вот и сговорились Шурка с Петькой сходить аж за выемку, за кисликой-травой. Она в самый раз в росте, в соку была.

По правде сказать, кислика и тут же, за огородами, росла. Шурка с Петькой рвали ее, обдирали тонкую кожицу и хрумкали кисло-сладкие тоненькие стебли. Но Петька, когда нахрумкался, сказал, что здешняя кислица не такая вкусная, как за выемкой. Там она лесная, растет среди высокой травы и кустарников и столько ее, что по мешку нарвать можно.

— А по мешку-то зачем? — удивился Шурка. — Попробовал — и ладно. На борщ не годится и корове не отдашь.

— Кислицу все пробуют, — не согласился Петька. — Бабке бы дал, деду... Скажи, просто идти за выемку дрейфишь.

А вот и неправда. Шурка давно был согласен на поход по длинной дороге. Но, посмотрев в сторону выемки, за которой поднимались к небу хмурые сопки, заросшие лесом, он вспомнил, что где-то там прошлым летом медведь потоптал колхозный овес. Потому и поинтересовался:

— А-а, это... Ваш Амос или Семушка не пойдут с нами?

Петька тоже посмотрел вдаль, почесал ногой ногу и не очень уверенно сказал:

— Пойдут. Узнают, что мы собираемся, и не отстанут, поди.

И тут Петька что-то не так говорил... Амос с Семушкой постарше их на целых два года, и чаще всего самому Петьке приходилось от них отставать. Но Шурка не стал говорить другу про это: еще передумает. А уж сильно хотелось ему сходить туда — аж за выемку.

— А тебя дед с бабкой отпустят? — полюбопытствовал Петька.

Шурка твердо заверил, что, конечно, отпустят... И вот вчера он целый день намекал деду, что, мол, неплохо бы сходить ему к выемке да кислицы нарвать. Непонятливый дед говорил, что эта трава совсем ни к чему в доме и еще говорил, что, мол, успеется... И теперь, стоя за углом дома с мешком под тужуркой, Шурка крепко засомневался в успехе задуманного. Выглянув, посмотрел на деда, все еще тюкавшего топором, на бабку у стайки и, решившись держать ответ после, прямиком через сад и дыру в ограде заторопился к дому соседей.

...Поджидая Шурку, Петька топтался уже на дороге. Но, торопясь к нему, на крыльце Ломовых Шурка увидел своего приятеля Семушку и его больную мать — тетку еще не старую, но такую худую, что на нее и смотреть больно было. Платье на тетке болталось просторно, а на лице, считай, одни глаза оставались.

Шуркина бабка как-то сказала, что страдает тетка от «нутряной» непонятной болезни. «С сутрясения это, — объясняла бабка, беседуя с подружкой из деревни. — Как енный мужик попал под поезд, она и зачахла». Бабка поджала ладонью щеку, подумала и сказала еще: «И пошто она этого приблудного к себе приняла? Ни ее, ни Семку он не жалеет. Я-т хоть слепая, а вижу — душа у него те-емная»...

Бабка говорила так про Семушкиного отчима — мужика длинного, остроносого и будто пришибленного. Ходил он всегда с опущенной головой, на людей не глядя и почти что ни с кем не разговаривая. Из-за него и Семушкины друзья к нему домой не ходили — потрухивали.

Шурка посмотрел, как Семушка усаживает мать на крыльце. А когда она села, опираясь о доски сухими слабыми руками, Семушка опять ушел в дом и тут же вернулся с жакеткой в руках. Укрыв матери плечи и спину, он спустился с крыльца, спросил:

— За кисликой, Шурк?

Шурка только кивнул, поправляя на голове кепку. Семушка повернулся в сторону выемки, виновато нахмурился.

— Я б тоже пошел с вами. Да вишь, опять она разболелась. А дома сегодня никого больше нет...

Шурка видел, что Петька сердится и машет ему кулаком. Заторопившись, он сказал Семушке:

— Ты оставайся, смотри за ней. Мы и сами сходим. — И, не зная, чем еще помочь дружку, пообещал: — Я тебе потом дам кислицы. Целый пучок...

Петька встретил его сердито:

— Ну ты и собираешься...

— А че, Петьк?

Петька не ответил. Повернувшись, он посмотрел назад. От дома за ними семенила шестилетняя Зинка.

— Па-аайду-у! — заливаясь слезами, голосила она.

— А то! — кивнув на Зинку, ответил Петька. Он повернулся к сестре, и сделав грозный вид, пообещал: — Счас навшиваю!

Но Зинка остановилась только после третьего решительного предупреждения. Шаркая кулачками по глазам, она сошла с дорожки, по которой улепетывали приятели, и стала собирать ярко-желтые одуванчики.

— Ну, нар-род! — отойдя подальше, проговорил Петька. — Один полдня собирается, от других не отвяжешься...

Шурка не стал задираться, только спросил:

— Ты же говорил, что Амос пойдет?

— Догоняй Амоса... На казарму он дернул, к Юрке Шарапову. — Тут Петька вздохнул с сожалением. — Что мы для них? Мелюзга! А готовую кислицу жрать все мастера...

Шурка догадался, что между братьями опять была ссора, а то и потасовка.

— Ну и пусть не пошел, — махнул он рукой. — Сами еще больше нарвем. А им и давать не будем...

Не уточняя, кому это «им», Петька согласно кивнул и тут же, насвистывая, тальниковым прутком начал нахлестывать по высоким головкам чемерицы, по желтым саранкам и бледно-голубым колокольчикам, росшим среди густой травы по обеим сторонам дороги.

Легкий человек Петька... Все как есть понимает,

долго не сердится, а зазря и не обижается вовсе. Конечно же Амосу интересней водиться с Юркой Шараповым — сыном дорожного мастера Сергея Петровича. Тот и ровесник Амосу, и башковитый — до ужаса. Вот прошлым летом он придумал штуковину. Взял тыкву большую, срезал верхушку и выбрал из середины потроха с семечками. На боку тыквы вырезал дырки для глаз, носа и рта, а в середину зажженную свечку воткнул. И вот такое страшилище темным вечером Юрка вместе с Амосом поставили на широкой дороге, по которой девки-невесты из деревни с вечерки шли.

Говорят, визжали невесты так, что, поди, и в Узловой слышно было. А громче всех — Юркина сестра Варька, которой, как Шурка однажды заметил, его дядька Клим подмигнул. Варька сначала скраснела слегка, а на Клима так хорошо посмотрела, что Шурка сразу обо всем догадался. На другой же день он дядьку Варькой дразнил, удирая от обещанного щелбана.

С хорошими думками дорога хорошо покоряется... Вот уже далеко остались дома Шурки и Петьки, а сопка с выемкой навстречу придвинулась. И скоро, перейдя через канаву от трубы под линией, они зашагали в гору. Чем выше поднимались, тем плотнее подступали к дороге кустарник, молодые дубки и березы. Деревья стояли стеной, и Шурке казалось, что идут они с Петькой по зеленому бесконечному коридору, который ведет их к чему-то неизвестному, еще никем-никем не открытому.

Пологим затяжным подъемом они добрались до макушки сопки. Это ее Шурка видел от дома. Видел он и лес, теперь окружавший его, и дорогу. Но чудное же дело — от дома лес был вроде как плоский, с неровными зубчиками, влепленными в синее небо, а тут оказался широкий, густой... Да и сама вершина другая. Издали виделось, будто она — острый гребень, за которым скрывается крутой-крутой спуск, а тут дорога пошла как по равнине, с неглубокими впадинами, прорезанными тележными колесами.

Посмотрев вперед, Шурка увидел, что лес там сомкнулся и никакого коридора уж нет. Он даже подумал, что и дороги дальше не будет. Но она не кончалась, а только круто сворачивала, будто оробев перед густотою деревьев.

— Погоди, Петьк, — попросил Шурка на повороте. — Камушек в ботинок попал... Колется!

Петька остановился. И ребятишки сразу услышали охранявшую лес тишину... В жарком безветрии вокруг них стояли деревья, переплетались ветки кустарников и млело зеленое лесное разнотравье. Казалось, все растущее в лесу настороженно слушает кого-то и тянется, тянется вверх, чтобы ветками и листьями захватить как можно больше падающего сверху солнца.

Но тишина и выдавала жизнь обитателей леса. Вот в самой чаще кто-то прошуршал старыми листьями... Тут же зафукало вверху, и Петька с Шуркой увидели летящего красноголового дятла. Он ловко прилепился к сухому стволу черной березы, застучал крепким клювом. И, будто разбуженная дятлом, совсем близко закуковала кукушка. Отыскивая ее, Петька повертел головой и громко спросил:

— Кукушка-кукушка, сколько мне жить?

Он тут же затих, считая, сколько раз она прокукует.

— Двадцать три! — подвел он, наконец, итог. — Ты че же сидишь, Шурка? Ждешь его, ждешь, а он сидит просто так...

Но Шурка сидел не просто так. Случайно оглянувшись назад, в прогале между деревьями он увидел далекую равнину и замер в растерянности, а потом в изумлении. Там, внизу, теряясь в кустах и кочках, поблескивала речка Безымянка, чуть голубело озеро, а совсем рядышком с ним стояли дома Шуркиного деда и Петьки Варнакова. Разглядел Шурка широкую дорогу, станцию, казарму, деревню, черные карандашики семафоров... Но больше всего поразил его равнинный простор, разрезанный четкой прямой линией железной дороги. На этом приволье, непосильном Шуркиному взгляду, темнели ленты дорог на полигон и к Телковой заимке, поблескивали кружочки лиманов и разбегались деревья. Все это, хорошо знакомое, через расстояние смотрелось маленьким вовсе, вроде бы игрушечным. И Шурка, переполненный чувством высоты и восторга, сорвал с головы кепчонку и, размахивая ею, закричал:

— Эге-ге-ей!

— Чего разорался? — пробурчал удивленный Петька. — Пошли давай! А то докричишься до барсука...

Шурка притих, настороженно оглядываясь.

— А они здесь есть, Петька?

— Как же... Лес — и без барсуков? — шагая, рассуждал Петька. — Такого и не бывает. А ты кричишь тут... Вот придешь домой без своего хозяйства, тогда узнаешь...

— К-какого хозяйства? — опешил Шурка.

— Такого... Слыхал, что барсуки у мужиков отрывают?

Шурка не слыхал. А когда Петька растолковал ему, он еще с пущей внимательностью стал присматриваться к ближним кустам. Но к его радости после поворота лес начал редеть, и скоро дорога выскочила на открытое место, сплошь заросшее цветущими ландышами. Но они Шурку и Петьку не интересовали. Судя по всему, дальше сопка обрывалась, потому что дорога опять сворачивала. Теперь она шла вдоль телеграфных столбов с гудящими проводами.

Ребятишки остановились, послушали гул проводов, и откуда-то снизу до них долетел лязг железа, чей-то глухой разговор.

Петька поморгал, соображая, и, подпрыгнув, обрадованно закричал:

— Там же выемка, Шурка! Выемка, понял?

Он сорвался с места и прямо по ландышам помчался вперед.

Не успев и запыхаться, ребятишки оказались на откосе глубокой выемки. Глянув с него, Шурка даже оторопел. Внизу лежали две бесконечные лестницы из шпал и четырех ниток из рельсов. И не сразу понял Шурка, что перед ним железная дорога, по которой он ходил между казармой и станцией, с насыпи которой катался на санках и лыжах... Но никогда еще он не видел дорогу сверху. И людей с такой высоты первый раз видел: внизу работала бригада путейцев. Среди них Шурка узнал мастера Шарапова, коренастого татарина Камаледдинова... Рабочие домкратом поднимали рельсы и, шуруя узкой длинной штуковиной из толстой жести, подсыпали под шпалы балласт.

— Суфляж производят! — объяснил Петька, понаблюдав за рабочими.

Друзья уже собрались двинуться дальше, но тут из-за поворота выемки показался пассажирский поезд. Раз-

матывая над вагонами гриву белого дыма, он быстро несся под уклон и, что больше всего удивило ребят, мчался бесшумно. Перестук колес долетел до них, когда поезд подошел совсем близко. Шурка сверху увидел черную дыру в паровозной трубе, квадрат тендера с кучей угля, около которой копошился кочегар в измазанной мазутóм одежде, крыши вагонов с колпачками вытяжных труб, чашечки вентиляторов над вагон-рестораном...

Они смотрели, пока поезд ушел за поворот. И тут Петька окликнул приятеля:

— Пошли, а то не много кислицы нарвем. Там сидим чухаемся, тут стоим смотрим...

— Разве не интересно, Петь? — удивился Шурка.

— Интересней, когда мешок не пустой.

Скоро дорога стала круто спускаться вниз, в сторону от выемки. Миновав еще один поворот, они увидели впереди распадок и в нем — темно-зеленое поле.

— Во, Шурка! — показал рукой Петька. — За этим полем будут огороды. А там близко и кислица растет.

— Ха, — усмехнулся Шурка. — Она и тут растет. Вон, смотри, кустик краснеет, и вон...

— Это уже старая, — оценил Петька. — Такую незачем рвать.

Дорога опять незаметно входила в лес, теперь — на северном склоне — совсем редкий и низкорослый. Только кустарник был густой, местами непроходимый. За глубокой канавой, пробитой дождевою водой, на песчаных откосах виднелись сусличьи норки.

— А че суслики тут едят? — полюбопытствовал Шурка.

— Как че... Поле же видишь? Вот они и таскают оттуда пшеницу.

Тут Шурка увидел суслика, шмыганувшего через дорогу, и засмеялся:

— Та-аскают!.. Берет суслик мешок с пшеничкой на спину — и чешет. Да, Петь?

Петька тоже посмеялся.

— Ну ты и придумал... Да зачем суслику на спину мешок, если у него за каждой щекой по мешочку имеется? Он в них зерна набирает и носит. Понял?

Шурка, подняв свой мешок, побежал под гору, размахивая рукой и крича: «Ур-ра-аа!».

— И чего ты орешь все как резаный? — напустился на него Петька. — Доорешься, что медведь на дорогу вылезет...

— Да разве же он дурной, Петька? — удивляясь другу, спросил Шурка. — Зачем он сюда-то придет? Тут же дорога рядом. Вон, слышишь, поезд пыхтит на подъеме? Тут и люди работают...

— Мало ли что дорога, — пробурчал Петька. — А у него свое может быть на уме. Помнишь, дядька Яков рассказывал, как волки за козой до самой линии гнались?

Шурка помнил. Был такой случай. Где-то в сопках два волка выследили косулю. Из последних сил уходила она от них. И то ли осмелев, то ли обезумев от страха, выскочила к линии. Одним прыжком перемахнула через полотно перед самым поездом. Волки испугались, остановились. А тут и дядька Яков оказался поблизости. И ни с чем серые завернули обратно...

Спустившись в распадок, Шурка и Петька добрались до своротка с дороги. Хорошо нахоженная тропа подняла их на просторный приступок перед пологою сопкой. Тут они и увидели квадраты огородов с ровными рядками подросшей картошки. Глянув на нее, Петька хозяйственно заметил:

— Уж и прополоть надо!

Разворачивая мешок, он оглядел уходящий вверх распадок.

— Вот тут и рвать станем кислицу. Пока доверху долезем, по мешку и наберем, пожалуй...

Шурка тоже приготовил мешок и вошел в густые заросли молодого папоротника, дикого горошка, вьюнков, клевера. И вдруг прямо у него из-под ног с шумом взлетела большая черная птица. Шурка даже голову в плечи втянул.

— Косач, косач! — заорал Петька.

Его крик наделал еще большего переполоха. Вокруг стали взлетать другие птицы. Мельтеша короткими пестроватыми крыльями, они набирали скорость и, планируя, уносились в соседний распадок, где темнели густые заросли черной березы.

— Видал, Шурка? — закричал сияющий Петька. — Я даже красные брови у одного видел. Петух это был!

— А и брехун же ты, Петька! — заспорил успоко-

ившийся малость Шурка. — Красные брови он видел... А сам с закрытыми глазами стоял. И даже мешок уронил!

Петька помолчал, пробираясь между кустами.

— Скажешь тоже... Я, правда, перепугался маленько, но как бы я мешок уронил, если он у меня на шее болтается?

Посмеиваясь, дружки шли по распадку, высматривая длиннолистые кустики кислицы. Тут ее было действительно много, они выбирали ту, что потолще в корне и посочнее. Аккуратно, чтоб не поломать хрупкие стебли, Шурка укладывал кислицу в мешок.

Горячее солнце поднялось до самой верхушки безоблачного, ровно закрашенного бледно-голубого неба. Его края опускались со всех сторон, огромным шатром укрывая сопки, перелески и распадки, в одном из которых появлялись и исчезали за кустами темные картузишки Шурки и Петьки. Вокруг них трещали кузнечики, которые то и дело выпрыгивали из-под ног; отовсюду слышалось кукованье, ворковали дикие голуби, переливались желтобрюшки и другие птицы, порхающие с куста на куст. И таким покоем дышало раздолье, что Шурка нет-нет да останавливался, оглядывая всю округу и замирая в радости, оттого что все это еще не изведано, не исхожено им, не проверено...

Мешки потяжелели, лямки давили на плечи. Шурка уже не раз смахивал со лба пот и даже посожалел, что очень уж жаркий выдался день, а ветер до сих пор не проснулся.

На вершине распадка Шурка и Петька сошлись около высокой, от старости задумчивой березы. Ее обхватистый крепкий ствол покорно удерживал густую крону из множества больших и малых ветвей с молодыми, еще не огрубевшими до шершавости листьями. Задрав голову, Шурка посмотрел на березу.

— С нее, Петька, поди, далеко видно. Залезем?

— Давай, пожалуй.

Подойдя к самому дереву, они вдруг услышали резкий посвист и на ветке увидели встревоженного бурундука.

— Счас поймаем тебя! — обрадовался Шурка.

Подпрыгнув, он ухватился за нижнюю ветку, подтянулся и стал лезть выше. Бурундучок заметался, шмыга-

нул повыше, но ребята тоже карабкались вверх... Шурка мельком глянул вниз, на землю, подивился, что она уже далеко, и тут почувствовал, как что-то мягкое коснулось его спины. Подняв голову, он не увидел зверюшки и, обрадованный, закричал:

— Убежа-ал!

Пыхтя внизу, Петька добрался до крепкой развилки, устроился поудобнее.

— И че ты, Шурка, орешь все... Убежал, убежал! Да он по моей руке, хочешь знать, проскочил.

— Видал, смелый какой! Что ж ты не ловил его?

— Руки заняты были, — буркнул Петька. — А он, дурак, и укусить может...

Шурка, замерев, оглядывал открывшиеся сверху окрестности и тихонько удивлялся их изменению. Оказывается, если глядеть сверху, совсем близко, за невысоким бугром, тянется железнодорожная линия. И поле колхозное — как небольшое пятнышко на холмистой равнине... Повсюду, куда доставал взгляд, громоздились зеленые сопки. То пологие, с широкими распадками между ними, то островерхие, с крутыми, почти голыми склонами. Сопки тянулись рядами, спадая к кочковатым падюшкам, уходящим далеко-далеко, в самые вершины и переплетения становичка. А те вершины тонули в голубоватой дымке, которая скрывала и самую даль, и все неизвестное, что есть там...

— Вот бы туда, а? — выдохнул Шурка.

Петька тоже смотрел на вершины и склоны, укрытые густыми перелесками.

— Одним туда не добраться, — помолчав, с сожалением сказал он. — С ночевой же надо идти. А ночью, Шурка, все звери из кустов выползают...

Соглашаясь, Шурка только вздохнул. Как уж надоело ему быть маленьким. Ничего-то у него не получается из задуманного... Вот подняться бы сейчас над округою, чтобы, как выемку, с высоты оглядеть все, увидеть спрятанное за дальними сопками, узнать, где у них конец и какие звери прячутся в больших перелесках. Да разве ж поднимешься выше этой березы? Он же не птица, и не летчик совсем. А Шурке хотелось стать Чкаловым. Да толку с того, что хотелось... Он вот и Чапаевым хотел быть. А потом посмотрел кино про гибель парохода «Орел» и твердо решил стать водолазом. Но и опять

же — до водолаза ему расти еще больше, чем до того сучка, что дед отметил на дверном косяке...

Шурка вспомнил про кусок калача в кармане, достал его и разделил с Петькой.

— Это ты ладно придумал, — одобрил тот, жуя. — В другой раз еще баклажку с водой возьмем. Ага?

Перекусив, друзья спустились на землю. Петька накрепко завязал мешок и, подогнав лямки, закинул на спину.

— Хватит кислицы, — решил он. — Сколько ее рвать можно?

Шурка с готовностью последовал его примеру. Они стали спускаться к дороге. Срезая путь, забрались в густоту молодого орешника и дубняка. И тут услыхали впереди рычание. Пригнувшись, испуганно вытаращились и затихли, вертя головами. Вокруг только стрекотали кузнечики, пели малые птахи... Но едва двинулись вперед — опять рычание.

— Че это, П-петь? — прошептал Шурка.

— Рычит кто-то... — отозвался Петька, смахивая из-под носа испарину. — Может, барсук... А может, медв...

Петька осекся, уставясь глазами на развесистый куст. Там шевельнулся кто-то большой, темный... И тут Петька, круто свернув, заторопился к безлесой середине распадка, громко говоря:

— А нам, Шурка, туда и не надо. Мы и тут с тобой ладно пройдем...

Но смелости и выдержки у друзей хватило на десяток шагов. Позади опять кто-то зарычал, затрещал сучьями. Ойкнув, Петька с Шуркой чесанули через кустарник, кочки и валежины.

Они не сразу услышали за спиной смех и свист. Набирая скорость, Петька глянул через плечо и увидел, к немалому своему изумлению, хохотавших братца Амоса и Юрку Шарапова. Петька с Шуркой притормозили, растерянные, красные от испуга.

— От змеи подколодные... — только и смог выдохнуть Петька.

Особенно его заело, что рядом со старшими подпрыгивали от хохота свои же первоклассники — Загидулла Камаледдинов и толстопятый Илюха Слободкин.

— Ну, криворотые! — Петька скрипнул зубами и ринулся на пригорок. — Счас я вам навшиваю обоим!

Но Юрка Шарапов перехватил его, а шустрый Загидулла спрятался за Юркину спину, еще и дразниться стал:

— Омманули дурак на четыре пятак...

Петька задергался в руках у Юрки.

— Погоди, погоди! Я тебя еще поймаю у озера!

— А я тебе чего делал? — спохватился Загидулла, сообразив, что Юркина спина не всегда пред ним будет. — Мы тебе ниче не делаим, ты сам же пугался...

Сконфуженно улыбаясь, Шурка тоже поднялся наверх. Петька уже не дергался, и Юрка отпустил его. Амос смеялся:

— Быстро вы драпали! Аж листья через голову летели!

— А Петька-то, Петька! — скалился Юрка и передразнил: — «А нам, Шурка, тут и не надо идти... Мы, Шурка, и тут с тобой ладно пройдем...»

— Дураки вы! — уже беззлобно ругался Петька. — Тоже мне, медведи нашлись... Да мы и не боялись совсем. Да, Шурка?

Шурка кивнул и облизнул пересохшие губы.

— Конечно, вы не боялись, — великодушно согласился Юрка. — Шли-шли, а потом просто так свернули в сторону и побежали...

— Мы идем, — затараторил Илюха, — смотрим, что за вороны на березе сидят? А вороны, оказывается, вон какие!

— А вас куда черти несут? — полюбопытствовал Петька. — Тоже, поди, за кислицей?

— На кудыкину! — сердито буркнул Амос, недовольный вопросом.

— Зверкам лавить, — торопясь заслужить Петькино расположение, объяснил Загидулла. — За сусликам идем.

— Знаешь, Петька, — опять заторопился Илюха, — за шкурки в Заготпушнине деньги дают... Айда ловить с нами? — Он встряхнул мешок, где загремели железяки. — Во-о, видишь? Это капканы у нас.

Петька быстро переглянулся с Шуркой и встревоженно спросил:

— А вы по линии шли или по дороге?

— По линии. А что?

— Да я так спросил, просто, — как можно безраз-

личнее ответил Петька и поправил на спине мешок. — Ну идите, ловите своих сусликов. А нам домой надо...

Он зашагал вниз, и Шурка, чувствуя, что Петька что-то придумал, заторопился следом. Но их остановил Загидулла.

— Эй, Петька! — крикнул он. — А когда я рычал, ты про каво думал?

Возмущенный Петька собрался было вернуться, чтобы все же отвесить насмешнику оплеуху, но только погрозил кулаком. Повернувшись, он заговорщицки подмигнул Шурке:

— Пускай, пускай они тут сусликов ищут... Они и не знают, где суслики-то живут. А мы им про норки в канаве и не скажем совсем. Мы вот тоже достанем капканов и сами будем шкурки сдавать.

Шурка согласился, посоображал над задуманным, потом сказал:

— Петька, а шкурки же сначала снимать с сусликов надо...

— Надо, — подтвердил Петька.

— А ты умеешь?

Некоторое время Петька шагал молча, раздумывая над вопросом, потом махнул рукой.

— Ниче, Шурка. Главное — поймать. А уж шкурку сдерем как-нибудь.

— Сдерем!

Выйдя на дорогу, приятели бодро зашагали в гору.

...В этот день очень везло Шурке. Прямо замечательный выдался день!

Возвращаясь, с высоты сопки он еще раз посмотрел на свой полустанок и дедовский дом и подумал, что, пожалуй, будет ему выволочка от бабки. Ушел-то он не спросясь... Хорошо было б теперь что-то такое придумать. А что придумаешь?

Сгибаясь под мешком, который под конец совсем стал тяжелый, Шурка с завистью поглядывал на Петьку. Ему вот не надо голову ломать над придумками. У них в дому свой порядок. Кто куда пошел, когда и откуда вернулся — никого не касается. Хороший порядок! А вот у него дело другое...

Так ничего и не придумав, Шурка свернул на короткую дорожку к дедову дому. Но тут на станцию прибыл местный поезд. А на нем приехал дядька Клим.

Он быстро догнал Шурку, подхватил его, подкинул вместе с мешком, а поставив на землю, протянул огромную пятерню:

— Здорово, короед!

Шурка даже задохнулся от радости. Он сразу прикинул, что с дядькой возвращаться куда лучше, чем одному. Бабушка же кормить станет Клима, про дядьку Виктора спрашивать. Тут уж ей не про одного Шурку думать-то надо.

Шурка даже подпрыгнул и обхватил дядьку у пояса.

— Ну-ну! Это что за мешок у тебя на горбу?

— Кислица!

— Что ты говоришь? А ты с кем ее рвал?

— С Петькой ходили...

— Молоде-ец! — похвалил дядька. — Прямо молодец у нас Шурка. Кормилец-заготовитель!

Ну вот, дядька уже и подсмеивается... Девятнадцать лет всего Климу, он и сам еще побаловаться да похохотать горазд.

Подошли к калитке, и Шурка сразу увидел бабку, хлопотавшую около летней печки, поставленной под навесом, рядом с вкопанным в землю столом. Увидел и деда, отдыхавшего на чурочке в тени.

— Бабушка, баба! — заторопился Шурка. — А я вот кислицы принес!

Бабка быстро повернулась от чугунков.

— Господи, господи! — подслеповато щурясь, запричитала она. — Ты где же, окаянный, целый день пропадаешь?

Шурка молчал, ждал, когда дядька поздоровается с дедом и бабкой. А Клим, стягивая с себя рубашку, весело глянул на Шурку:

— Так ты что, без спроса удул?

— Мы же недалеко, к выемке с Петькой ходили, — бубнил Шурка.

— И какой беды тебе там надо было? — напустилась на него бабка. — Я уж и на станцию сбегала, и на казарму сходила. Всех спрашивала, никто его, окаянного, не видел. Вот еще горе на мою голову...

Таких разговоров совсем не любил Шурка... Стоя посреди двора, с мешком около ног, он должен был выслушать многое про непутевого внука, которого дочка-покойница оставила бабке на старости лет. И что хо-

дит-то этот внук целыми днями голодный, не одевается как следует, не думает о том, что в лесной преисподней можно и ногу сломать, и глаза себе выткнуть... И что хоть учится внук, вроде бы, слава богу, а за цыплятами посмотреть некому и опять они всю рассаду распотрошили. И что рыжему поджигу Петьке лучше не показываться бабке на глаза. Но и, слава те, господи, заявился все же внучек цел и здоров...

Все это надо было выслушивать не перебивая. Шурка знал свою бабку. Вот она уже стала стихать. Хотя и выговаривает ему, а сама наливает в чашку молочной лапши, режет ломтями хлеб, ставит вазу с вареньем, потную крынку холодного молока, самодельные кренделя и калачики, сахар... Дядька заканчивает полоскаться под рукомойником, дед поднимается с чурочки и, поглаживая бороду, говорит:

— Ладно, старуха, ладно. Парень по делу ж ходил. Смотри, травы притащил сколько. У него, поди, и спина мокрая. Ты давай-ка корми работника.

— Да вот собрала, — говорит бабка и поворачивается к Шурке: — Мойся иди да садись. И ты, отец, садись, свеженького с Климом поешьте.

Ну, теперь все... Правда, бабка еще не раз помянет Шуркино самовольство, но это уже будет другой разговор. Шурка подхватился, поставил мешок на крыльцо, выбрал самую лучшую кислицу и подсунулся к бабке:

— На, баб, испробуй. Ты же любишь ее!

Бабка взяла пучок, осмотрела, ощупала, лицо ее осветилось, но все же она сказала:

— Неслух ты, неслух...

Шурка быстро умылся и через минуту уже сидел между дядькой и дедом, бодро хлебал лапшу и рассказывал про дорогу, про лес, такой густющий на сопке, про линию в выемке и про то, как их с Петькой напугали. Забывшись, рассказал и про косачей, снарядами взлетавших около огородов. И тут, осекшись, виновато посмотрел на деда, на дядьку, сидящего в майке, плотно облегающей его большую сильную грудь.

— Так огороды ж за выемкой, — тихо сказал дед, косясь на бабку, хлопотавшую у печки. — А ты говорил, что близко ходили.

— Соврал, значит? — прямо спросил дядька.

Шурка склонился к столу, чувствуя, что теперь-то уже от стыда собираются слезы. Но тут на его голову легла широкая ладонь деда.

— Это он заплутался маленько, — сказал дед. — Дороги завсегда незаметно уводят. Вот и они с Петькой перемахнули через сопку. Бывает!

— Бывает, — усмехнулся и дядька Клим. — Ладно, Шурка, не кисни. Вот Виктор со школой управится, я отпуск возьму, махнем на речку Марусинку. Это в самых сопках, раз в десять подальше, чем ты сегодня ходил. Будем ленков ловить, харпусов. Пойдешь с нами?

Глянув на Клима заблестевшими враз глазами, Шурка только кивнул...

Одолев еще кружку молока, он выбрался из-за стола, подошел к мешку и стал выбирать стебли потолще.

— Деда, я Семушке кислицы снесу...

— Неси, что ж.

Набрав толстый пучок, Шурка побежал через сад к знакомой дыре в ограде. Под деревьями было сумрачно от теней, и, выбравшись на покос, Шурка даже зажмурился от яркого света. И вместе с теплом солнца почувствовал в себе огромную радость — оттого что столько видел в этот день, и что бабка с дедом хоть и отругали его маленько, а сами добрые-добрые, и что скоро пойдет он в далекий поход на речку Марусинку вместе с дядьками, рядом с которыми никто на свете не страшен...

И не зная, как выплеснуть эту свою радость, какой дать ей ход, он закричал торжествующе, высоко подпрыгнул с пучком кислицы в руках и пустился бегом к дому соседей.

ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ

Стадо Семушка пригнал в сумерках... В тот час из низинок, от пади разливался по округе туман. В деревне за озером играла гармошка, слышалась песня.

Семушка крепко устал. Да и то: целый день бегал за коровами, до хрипоты накричался на них, непутевых. Он вяло похлебал щей, запил их молоком и лег в сенях на самодельном топчане. Укрылся овчинной шубой и сразу же заснул, будто в яму провалился.

Июньские ночи короткие. А эта и по календарю короче других. И в эту-то ночь привиделся Семушке удивительный сон...

Обратился он, вроде бы, в птицу. Взмахнул руками, как крыльями, и стал подниматься вверх. К самому поднебесью. И так высоко поднялся, что дух перехватило. Но и хорошо же ему, интересно было там, наверху.

С высоты рассмотрел он покосную равнину с лиманами, холмы и перелески на выпасах. Увидел под собой строгую линию железной дороги. С обеих сторон к ней лепились дома полустанка: четыре сбились кучкой у пе-

реезда, а один темнел крышей чуть в стороне. Это была станция. Против нее — за линией — увидел Семушка и свой дом на две квартиры, и большую избу соседей — стариков Орловых...

Как же хорошо, как славно летать! В росе не мокнешь, ноги не устают от ходьбы, не жарко и не холодно, а видно все-все. Вот внизу рельсы синеют. На равнине они прямые, как по линейке начерченные. Но недалеко от полустанка линия опускается в выемку и вьется змеей среди сопок, огибающих равнину подковой. Вершина подковы направлена к востоку, где солнышко всходит. Под другой половинкой подковы, на косогоре, пристроилась деревня. От линии и полустанка ее отделила кочковатая падь с речкой Безымянкой посередине.

И речка сверху совсем маленькой кажется. Бусинками на нее нанизаны озера и озерки. Самое большое озеро — против полустанка. Безымянка скрывается в нем, но, упрямая, вытекает с другого конца. Там через нее мосток перекинут на сваях из рельсов. А еще ниже, уже за мостком, виднеется брод для тракторов, машин и конных подвод. От брода дорога поднимается рукавами рубашки: один к переезду через линию, а другой — к деревенскому косогору.

Семушка помнил, что дальше за равниной раскинулась Левинская падь с топями. Он потянулся, чтобы рассмотреть это страшное место, но тут что-то сбило его с полета, все видимое потускнело, и он вроде бы ткнулся плечом в твердую землю. Открыв глаза, в полумраке рассвета увидел над собой хмурое лицо отчима.

— Зачем ты? — удивленно спросил Семушка, жалея о сне. — Зачем... будишь?

— Трясу-трясу, а он как мертвый! — сердито проговорил отчим. — Вставай, работничек.

— А-а... — Семушка сладко зевнул, опять закрыл глаза. — Счас я, погоди чуть...

Потянул на себя теплую овчину, в секунду забылся, но та же рука опять встряхнула его за плечо.

— Кому говорят, вставай! Все уж коров выгоняют...

Семушка торопливо сел на топчане, а глаза его никак не хотели раскрываться. Он уж было привалился к стене, но из глубины дома подала голос мать:

— Подымайся, сынок... Вставай... Люди ведь ждать не станут...

Отчим хлопнул дверью сеней, ушел в стайку, а Семушка закопошился в одежде. Натянул штаны, рубашонку. Навернул портянки, кое-как втолкал ноги в мокрые сапоги. На дворе плеснул в лицо водой из рукомойника и вернулся в дом, шибавший духотой, запахами старого борща, лекарств и прелой одежды.

Доставая хлеб и молоко, Семушка звякнул посудой. На кровати в сумеречном углу заворочалась хворая мать.

— Ты поешь хорошенько, сынок. И молока с собой не забудь.

— Я и так ем, — отозвался Семушка. — Ты лежи, мам...

Помолчав, мать вздохнула, вроде бы всхлипнула, и сказала сердито:

— И когда ж он вернется только, бугай тот бессовестный? Договаривались на два дня, а пошел уже четвертый...

Под материнские вздохи Семушка принес из сеней торбочку, сунул в нее фляжку с молоком, горбушку хлеба и, накинув на плечи старый пиджачок, вышел в сырой и прохладный рассвет.

Отчим уже выпустил корову из пригона. Она пощипывала траву около трех берез, росших против дома стариков Орловых. Под присмотром бабки Орлихи там же паслись ее Белянка и бык Пушкарь.

Пощелкивая бичом, Семушка погнал животных по дорожке к переезду. За линией слышались голоса, покрикивание, мычание коров и телят.

К Семушкиному приходу коровы уже были на месте. Пощипывая траву, они медленно отходили в покосный простор с перелесками. Поглядывая за ними, на развилке зябли женщины, одетые по-утреннему, на скорую руку. Среди них и тетка Катерина — мать лучшего Семушкиного дружка Леньки Чалова. Посмотрев на девятилетнего пастушка, обутого в тяжелые сапоги и в сползающем на глаза картузе, она спросила озабоченно:

— В какую сторону погонишь пасти? Где хоть потом искать-то тебя?

— Прямо к полигону погоню. — Семушка по-хозяйски оглядел стадо, спросил: — Все тут?

— Да вроде все, — ответила тетка Катерина. — Раз уж ты не проспал, то и другие проснулись...

Степанида Слободкина — пожилая, невысокая, со стеснительной улыбкой на добром лице, — вздохнув, заметила негромко:

— У такого отчима, как Гаврила Ломов, не проспишь. У него и петух раньше других просыпаться приучен...

Нахмурясь, Семушка поправил картуз, щелкнул бичом и заторопился за стадом.

Утро только начиналось. Серый рассвет тянулся медленно. В туманной заволоке хоронилась дремотная тишина. Птицы еще спали. Деревья и кусты смутно проступали из полумглы. Все казалось таинственным, страшноватым и, успокаивая себя, Семушка щелкал бичом, покрикивал на коров, стараясь придать голосу басовитость и строгость.

Войдя в росные травы, пастушок сразу вымок до пояса. Медленно двигаясь за стадом, он зябко поеживался от сырости и прохлады. Не шли из ума слова тетки Слободкиной про отчима. Не любят его люди... Ни соседом, ни другом его не зовут. Для всех он — Гаврила Ломов. Про себя и Семушка его Гаврилой зовет. Даже дружок Семушки Ленька как-то признался:

— Боюсь я, когда твой новый батя на меня смотрит: глаз у него тяжелый. — И пояснил: — Дед Помиралка сказывал, что в глазах человека душа предстает.

Помиралкой на разъезде называли отца начальника станции — сухонького, совсем дряхлого старичка. Каждую осень, по заморозку, обходил он соседей, со всеми прощался, собираясь помирать и говоря, что уж этой зимы ему не перетерпеть. И до весны не появлялся на улице, пересиживая холода за печкой, рассказывая ребятне байки да сказки.

Семушка насупился:

— Брехун он, твой Помиралка!

— Брехун? — загорячился Ленька. — А вот проверим...

Под завалинкой станционного дома лежала в затишке лопоухая дворняжка Дамка. Она не обращала на мальчишек никакого внимания, спокойно грелась на солнышке, но когда Ленька сердито уставился на нее, Дамка забеспокоилась. Подняла уши, глянула на Леньку раз-другой, поднялась, потопталась в недоумении и отошла, рыча и оглядываясь.

— Видал? — обрадовался Ленька. — А ты говоришь, дед Помиралка брехун! Не-ет, он старый и уж все в точности знает!

Никак не хотелось Семушке верить словам деда про душу в глазах, да еще Ленькиному доказательству, а получалось по их... И в самом деле, шибко тяжелым взглядом смотрит отчим на людей. И от всех на отшибе держится. Соседи, вон, собираются вместе, песни играют, стучат костяшками в прохладной тени тополей, а Гаврила — ни к кому. И к нему никто. И работа у него такая — путевой обходчик, все больше один бывает. То на своем километре порядок наводит, то по околодку идет.

Отчим и дома жил в стороне от Семушки с матерью, страдавшей какой-то грудной болезнью. Крутила ее эта болезнь, надолго в постель укладывала. Вот и опять мать лежит. В летнюю жару мерзнет. Но отчим ее совсем не жалеет.

И, правду сказать, скуповат Гаврила. Сласти да обновки Семушке редко перепадали. Да и пастухом он стал потому, что отчим так рассудил. Вообще-то стадо пас Сашко-однорукий — мордастый озорной парень из Узловой, нанятый на лето жителями полустанка. Да вот засобирался Сашко к себе в Узловую — большую станцию с магазинами, клубами и базаром, расположенную в десяти километрах от разъезда. Одежду сменить ему захотелось, купить кой-чего. Вместо себя он и подрядил Семушку, пообещав денег на новые сапоги.

— Иди, — решил отчим. — Тут два дня работы — и вот тебе, со скрыпом!

Но уж четвертый день не является Сашко. Видно, загулял. А Семушка за него отдувайся... Правда, и раньше он за подпаска не раз со стадом ходил. Но одно дело — просто так на приволье побыть, а когда столько коров у тебя под рукой — цветами не залюбуешься. Пастуха кругом беда поджидает. Позади железная дорога тянется, слева — бесконечные сопки, а с правой стороны — Левинская падь и колхозное поле. Да еще от жары и паутов на коров «бзык» нападает. Позадирают хвосты — и по кустам, а то и домой, в тень и прохладу сараев.

Жары и слепней сильней других бык Пушкарь боится, — хотя он такой здоровый, что Семушка до его

рогов и дотянуться не может. Дед Орлов сделал ярмо и приучил Пушкаря возить телегу и сани. Даже огород пахать на нем приспособился. Но еще теленком Пушкарь отморозил хвост, и теперь ему нечем отмахиваться от кровососов. Как прижучат его пауты до предела терпения, задирает бык остаток хвоста, как пушечный ствол, — и деру! За этот огрызок его Пушкарем и прозвали. И когда поднят он кверху, никому не сладить с быком.

За эти несколько дней узнал Семушка, каково пастухом быть. Стадо выгонять нужно рано, чуть свет. К одиннадцати возвращать домой, чтоб горячую середину дня коровы отстоялись в сараях. А как скатится солнце с верхушки, опять собирать стадо и пасти до вечерней росы. День таким долгим, таким тяжким кажется. Двадцать две животины под началом у Семушки. Среди них, как и между людей, есть хитрые, и ленивые, а есть просто блудни. Все их к запретному тянет. Вот та же Красулька — телка Слободкиных. Только что завернул ее Семушка, а она опять к Левинской пади направилась. За ней, гляди, все стадо потянется.

— Ты куда, окаянная! — бросаясь за ней, грозно кричит Семушка. — Я тебе поброжу, тварюка безрогая!

Но Красульку на испуг не взять. Слышит она Семушкин крик, косится, а сама боком-боком, да все в сторону тянет. Семушке неохота далеко-то бежать, но надо. И опять сбивает он на себя росу, штаны и рубашка мокреют все больше, липнут к телу, вызывая озноб.

Вернув телку в стадо, Семушка успокоенно огляделся. Туман уже отошел от земли и широкими пластами поднимался кверху. Из-за далеких сопок выкатилось солнышко и плеснуло по округе светом. Тысячами радостных слез заблестели вокруг росинки. Они сверкали на траве, на листьях берез и на ярких головках цветов. Славя утро, в перелеске с усердием распевали неугомонные птахи. Теперь Семушка видел все в молодой чистоте и нарядности, и ему становилось легче.

К восходному часу стадо ушло километра на два от линии, от полустанка, называемого еще и разъездом, от дремавшего озера, деревни под сопочкой — от того мира, где Семушка начинал ходить, узнавать, помнить.

Жили здесь пока без радио и электричества, по кругу, определенному долгом людей и временем. Раньше

других поднимались хозяйки, доили коров и провожали их в стадо. К восьми утра выходили на линию бригады путейцев — одна на запад, в сторону Узловой, другая на восток, — по кривунам пути между сопок. В тот же час менялись дежурные по станции, путевые обходчики. Сдавшие дежурство отдыхали или занимались по хозяйству, и около домов опять становилось тихо, безлюдно.

Полустанок так мал, что даже кладбища и школы при нем не имелось. Усопших сносили за село, на гору, поросшую дубняком, среди которого темнело несколько крестов. А учиться ребятишки ходили в деревенскую школу, стоявшую на пригорке.

Особых событий в Семушкином мире вроде бы не случалось, но жизнь никогда не казалась ему скучной. Особенно летом. На приволье только ленивому нечего делать. Тут тебе и рыбалка на озере, и купание вволю. В лесу полно ягод, грибов. Можно в сопки забраться... Случалось, с местного поезда безбилетника снимали или подгулявший мужик отставал — тоже для разговора пример. Весной корову колхозную поездом задавило. Как же не сбегать, не посмотреть? Или вот загудят по дороге на полигон грозные танки. Попросись — танкисты в кожаных шлемах могут в башню к себе посадить, прокатят немного. А уж когда в деревню кино привезут — для Семушки и его приятелей это праздник.

Друзей у Семушки много. В каждом доме, во всех квартирах ребятня есть. На станции живут Ленька Чалов, братовья Пронька и Толик Калиткины. Эти себя движенцами называют: их отцы следят за движением поездов. В том же доме живут Сережа с Кларой — дети начальника станции, внучата деда Помиралки. Но это мелюзга, близнецы-семилетки. С такими играть неинтересно, не сравнить с Варнаками, которые от Семушки через стенку живут. Это уж настоящие варнаки! В чужом саду или огороде пошуровать, малинку раньше других проверить — первые мастера. А на работу Варначата ленивы и пока решат, кому за водой к колодцу идти, — две-три потасовки устроят.

Рядом с казенным домом Семушки и Варнаков стоит рубленая изба деда Орлова. Раньше он тоже на линии работал, а потом, как сам говорит, на роспись сошел — на пенсию, значит. Но к тому времени поднялись де-

довы сыновья. Да так поднялись, что на них, когда вместе они, и смотреть боязно. Рядом с ними припеваючи живет Шурка-сиротка — внук деда и бабки. Малышу хоть всего восьмой год, но тронуть его никто не смеет, зная, какая у него защита. Петька Варнак как-то турнул Шурку, так получил от сироткиного дядьки Клима такой щелбан, от которого, как сам Петька говорил, у него до вечера в голове звенело.

На казарме — в домах путейцев — малого народа еще больше. У одних Слободкиных пять мальчишек. Все крепкие, лобастые, молчуны. По огородам не шарят, озоровать их не уговоришь. Да если бы и захотели, бабка не даст. Бабка у них — под косяк ростом, руки у нее ухватистые, а на шее здоровая шишка — зоб. Сказывают, этот зоб бабку душить собирается, но она ему не сдается. У такой бабки не поозоруешь. Да и отец у Слободкиных строг. Он охотник хороший и ребят к промыслу приучает. Потому они часто пропадают в сопках, в лесу да на озере.

С ними Семушке всегда интересно. Какая травка, какое деревце или кустик растет — все они знают, про все рассказать могут. И лягушек в руки берут, не боятся. Шуркина бабка говорит, что если цыркнет лягушка на руку, сразу бородавки повылезут. У Семушки только на правой руке их пять штук, хотя лягушек он сроду в руки не брал. С чего же тогда бородавки повылезли?

Знакомые ребята есть у Семушки и в деревне. Хотя бы вот Проновы Демка и Тарас — сыновья охотника дядьки Романа. Далеко в тайгу забирается дядька Роман. Привозит оттуда коз, барсуков, енотов, иногда даже кабанов и медведей. Еще в деревне живут Цезарь и Матвей. Они завсегда вместе ходят. Попробуй тронь одного, другой накинется коршуном. Но с разъездовскими деревенские не шибко-то водятся. При встречах задираются часто. Может, оттого, что их больше? В деревне вон сколько домов. Там и сельсовет, и школа, и магазин...

Семушка вспомнил, что в аккурат на сегодняшний день намечено большое сражение с деревенскими. Из корыта, в котором зимой поили колхозных коней, сделали они линкор, а разъездовские из старых шпал сколотили броненосец. Битва на воде обещалась великая,

а Семушка своим помочь не сможет. И все из-за Сашка... Не обидно ли? А тут еще Красулька, подлая, снова в сторону морду правит.

— Ну, я тебя сейчас отхожу! — кидаясь за ней, закричал Семушка. — Эх и отхожу, заразюка приблудная!

Семушка в сердцах огрел телку кнутом, загнал ее в середину стада, вкусно хрумкающего сочной травой, и остановился около большой кучи рыжих муравьев. Сорвал веточку, обчистил ее и положил на макушку муравьиного домика. Муравьи засуетились, облепили ветку. Семушка подождал, потом поднял ветку, стряхнул муравьев и лизнул. Во рту стало так кисло, что даже в носу зазудило.

Присев, Семушка засмотрелся на муравьев. За ними всегда наблюдать интересно. Все они торопятся, и каждый что-то доброе для всех делает. Многие перетаскивают по крыше домика соринки, а один снизу соломинку тащит. Соломинка раз в десять длиннее муравья, и тяжко ему приходится, но ношу все-таки не бросает. А как дружно муравьи от врагов отбиваются! Семушка вспомнил, как казарменский второгодник Митька Будыкин разворотил такую же кучу и кинул в нее подбитую лягушку. Возвращаясь с сопок, ребята увидели, что от лягушки остался только скелет.

Семушке тогда было жалко и лягушку, и муравьев. Это ж сколько им работать пришлось, чтобы починить свой домик. Вот дедушка Орлов муравьев ворошить не разрешает. У него в саду большая куча стоит. Муравьи снимают с деревьев тлю, личинки гусениц оббирают. «Взялись бы они и за комаров с паутами, — подумал Семушка, отходя от кучи. — Так и жалят, так и жалят, проклятые... Отогрелись после зимы, ожили...»

Со стороны сопок на выпас набегал ветер. Он шевелил траву, покачивал головки саранок, ярких жарков, перебирал листочки берез, лип и осин. Солнце высушило на Семушке одежку. Греясь на сухом остожье, он поглядывал за стадом, рассыпавшемся среди кустарника. Некоторые коровы уже улеглись в тень, шумно и сытно вздохнув. «Теперь и другие лягут», — с облегчением решил Семушка. Удобно отвалившись на кучку старого сена, он увидел в бездонной синеве над собой большого коршуна. Раскинув крылья, тот плавно описы-

вал круг за кругом. Семушка вспомнил свой сон и, наблюдая за птицей, подумал с завистью: «Эх, и вправду забраться бы так вот. Оттуда, поди, далеко-далеко видно. И озеро наше, и полигон, и Левинскую падь. И в траве не путаться, ноги на кочках не бить... Там хорошо, поди, прохладно. Летает!.. И хоть бы крылом шевельнул».

Семушка не заметил, как сон на него навалился. Проснулся он вроде бы скоро: коршун все так же парил в вышине. Но, раскрыв глаза, Семушка не увидел рядом коров.

Стада не было, и ужас холодом окатил пастушка. Он сразу представил себе линию, поезд, разбрасывающий, подминающий коров и телят, людей, с криками бегущих по насыпи... Тут же в его воображении нарисовалась другая страшная картина: Левинская падь, трясина с оконцами черной воды, тонущие и мычащие коровы...

— Боже ты мой! — прошептал Семушка. — Куда они все подевались?..

— Пушка-арь! Пушка-а-арь! — закричал он. — Красулька-а-а, Красулька-а-а!

Затихнув, с широко раскрытыми от испуга глазами, он постоял, прислушиваясь, но вокруг только шелестели листья и насмешливо улыбались саранки.

Семушка подбежал к ближнему деревцу, обламывая ветки, кое-как взобрался на него, огляделся. В той стороне, где проходила линия, было безлесно, видно далеко, но стада там Семушка не увидел. Не было его и в заросшей кустами низинке, которая уводила к сопкам и Телковой заимке.

— Куда ж вы, окаянные, уперлися? — шептал Семушка, хватая воздух пересыхающим ртом. — Как же я домой-то вернусь? Гаврила-то чего скажет?.. Ой, а если они в Левинскую падь или на колхозное поле ушли?..

И тут же он едва не вскрикнул от хорошей догадки: «Следы! По следам можно все узнать!»

Скатившись с дерева, Семушка заметался среди кустов. Вот примятая трава, так... Здесь корова лежала... Вон еще лежка. Еще одна... Все стадо отдыхало. Почему же они поднялись так рано? Времени сколько?

Семушка приложил руку к глазам, глянул на солнце,

на тень от куста. Ой-е! Больше десяти часов будет! Уже к дому заворачивать пора. А кого заворачивать-то? И росы не стало. По сбитой росе след далеко видно. Еще лежка... Трава от нее примята в низину. А вот тут она в другую сторону свалена. Кружили они, истоптали траву... Ой, только бы не в падь забрались. Туда бежать надо, туда!..

Коршун все еще кружил в синеве и видел, как беспокойно суетился пастушок среди кустов, как быстро двинулся он за темную черту дороги, к той стороне, где в низине косматились камышовые плавни и блестели под солнцем озера. Семушка бежал, спотыкаясь и падая, продираясь сквозь кусты, хватавшие его за одежку. Он не выбирал дороги, топал через лиманы, взбивая фонтаны прокисшей воды. Все знакомое и свое казалось теперь Семушке чужим и враждебным.

Обливаясь потом, через полчаса он выбежал к полю, лежащему на склоне перед Левинской падью. Рукавом вытирая лицо, оглядел зеленеющие хлеба, широкую низину — безлюдную и безмолвную. Стада не было и здесь.

Из глаз Семушки посыпались горькие слезы. Зная, что тут его никто не увидит, всхлипывая и причитая, краем поля он повернул назад. На передышку не было времени. Солнце забиралось все выше, и, торопливо мазнув ладошками по щекам, Семушка побежал через покосные равнины и кустарники, распугивая птиц, сминая жарки и саранки.

Совсем измученный, вернулся он к тому месту, где отдыхали коровы. Припадая на колени и раздвигая траву, начал рассматривать вмятины от копыт. Следы вели в распадок между двумя буграми. Распадок опускался все ниже, а бугры поднимались, незаметно становясь сопками с густо заросшими склонами. Там, наверху, петляя по хребтинке становика, проходила дорога. Она вела к залежному полю и обрывалась у ручья, на берегу которого темнел старый омшаник и стоял пустующий дом.

Это место и называлось Телковой заимкой. Когда-то здесь стояла колхозная пасека, но потом ее перевезли в другое место, и уже несколько лет на заимке никто не жил. Только летом в доме иногда ночевали покосчики да зимой, запрягая быка в сани, ездил сюда за жердями

дед Орлов... «Пушкарь дорогу туда знает, — подумал Семушка, продираясь сквозь заросли. — И теперь все стадо ведет... У-у, бычара упрямый!» Семушке было страшно даже представить, что коровы уйдут в сопки за ручьем и заимкой. Тем сопкам ни конца, ни края...

Исцарапавшись о кусты, он перевалил через распадок и, срезав угол, вышел на дорогу. Взбежав на вершину бугра, остановился, распахнул ворот рубашки, прищурясь, долго всматривался в долинку перед заимкой. Никого не разглядев и теперь уж совсем не зная, что делать, Семушка повернулся и замер с открытым ртом: в полукилометре от себя, на той же дороге, он увидел стадо. Растянувшись цепочкой, отмахиваясь от паутов и слепней, коровы двигались в сторону разъезда.

Семушка посмотрел, моргая, еще не веря глазам и, не утерпев, громко позвал:

— Пушка-арь! Пушка-арь!

Бык шел в середине цепочки. Услышав зов, он развернулся поперек дороги и встал, растопырив уши. С удивлением посмотрев на пастушка, мотнул головой и выдал басовитое, ни с чьим не сравнимое «Ммму-у-уг!»

— Пушкарь... Чертяка бесхвостый! — всхлипнув, прошептал Семушка и обессиленно присел на траву. Но тут же подхватился, прижал к груди торбочку и с победным криком сбежал с бугра.

Догнав стадо, он защелкал бичом, строго покрикивая. Стадо пошло быстрее. Только Пушкарь было приостановился и посмотрел на Семушку еще раз. В его больших темных глазах пастушку почудилась насмешка. Но радость Семушки от этого не уменьшилась. Хотя и припозднившись, домой он возвращался со стадом, а о том, что было, Пушкарь рассказать, к счастью, не сможет. И, шагая за стадом по горячей дороге, Семушка думал, как бы поскорее добраться до озера и с разбега бултыхнуться в прохладную воду. «Может, еще и на сражение успею? — прикидывал он. — А уж потом завалюсь в сенях на топчан...»

Так же, цепочкой, стадо подошло к развилке дорог. Здесь его ждали женщины, мужики, ребятишки. Обычно шумливые, они на этот раз были молчаливы, насуплены и даже, как показалось Семушке, сердиты. Кусками подсоленного хлеба, пойлом в ведрах хозяева приманивали коров и торопливо провожали их до сараев. Из-

дали Семушка увидел, как Шурка-сиротка и Варнаков Петька с ватажкой ребят перегнали по переезду трех коров и Пушкаря. Успокоенный, он пошел тише, чтобы не спрашивали про опоздание, за которое, как он думал, и сердиты были на него люди.

Не торопясь, с кнутом на плече подошел он к развилке, где одиноко стоял старший Слободкин — высокий мужик с непокрытой головой, в темной рубашке.

— Дядь Яша, дядь! — подступил к нему Семушка. — Не знаешь, Сашко не явился, а?

— Приехал, приехал, — успокоил его Слободкин, пыхнув дымком самокрутки. — На озере купается, обормот. После обеда, говорил, погонит пасти...

— Ура-ра-а! — подпрыгнув от радости, закричал Семушка. — Вот хорошо как, вот ладно-то!

— Ладно-то ладно, Семен, — нахмурился Слободкин. — А Красулька наша где? Нет ее.

Ошарашенный Семушка замолчал. Не поправляя сползшего на лоб картуза, он таращился на Слободкина, боясь поверить услышанному. И не сразу робко спросил:

— А-а чего ж ее нету, дядь Яш?..

— Так это тебя спросить надо, — усмехнулся Слободкин. — Ты, парень, не проспал ли коров? Пригнал чтой-то поздно...

Семушка промолчал, опустив голову и глядя на белые от росы головки разбитых сапог. Он со страхом думал, что сейчас нужно возвращаться по горячей дороге, опять блуждать среди кустов и увалов. Представив злое лицо отчима, его тяжелый взгляд, Семушка повернулся и, волоча по земле бич, пошел от развилки обратно.

Слободкин остановил его:

— Куда ты, Семен?

— Красульку искать, — отозвался Семушка, едва сдерживая слезы.

— Да постой ты, дурья башка! — Слободкин торопливо подошел к пастушку. — Искать он пойдет... Втроем-то сподручнее будет. — Он повернулся к казарме, коротко свистнув, позвал: — Найда!

На дорогу выбежала черная лайка — лучшая охотничья собака на разъезде.

— Ко мне! — скомандовал Слободкин.

Радостно взвизгнув, Найда подбежала к хозяину, закружилась, успев лизнуть Семушку в нос.

— Иди-иди, — выговаривал ей Слободкин. — Ишь обрадовалась, что ее летом в угодье берут... А ты сегодня где пас?

— Там, дядь, в перелесье...

Слободкин кивнул и, затоптав окурок, молча, чуть кособочась, выставляя плечо вперед, быстро пошел по дороге к заимке. Семушка засеменил следом, успевая поглаживать Найду, на которую он надеялся больше, чем на себя.

Слободкины — народ не больно-то говорливый. Всю дорогу их старший шел молча. Семушка к нему не приставал, считая, что дядька на него сердится. Может, ему отдыхать нужно было перед работой, а теперь вот приходится шагать в духоте, под обжигающим солнцем. Оно висело прямо над головой, жгло нещадно. Лоб у Слободкина блестел, рубаха на спине потемнела от пота.

Только на бугре, с которого Семушка увидел свое стадо, Слободкин спросил:

— Ты на дорогу-то их где выгнал?

— Та-ам, вон, дальше, — не очень уверенно ответил Семушка. — В низинке...

Но он малость ошибся. Оказывается, стадо до конца распадка не доходило. К дороге оно поднялось ближе, склоном сопки.

— Как же так, Семен? — нахмурился дядька. — Говорил, в низинке выгнал, а следов по дороге дальше-то нет.

— Да я это, дядь Яш... — замялся Семушка. — Шли-то они низинкой, а тут вот, тут, стало быть, и стали заворачивать...

— Стали... А ты зачем? — Слободкин помолчал, оглядывая кусты по сторонам дороги. — Значит, так... Иди левой стороной, а я пойду правой. Вдоль дороги и двинемся к дому. Далеко-то не отходи! Еще тебя искать не пришлось бы...

Слободкин шагнул с дороги, затрещал сушняком и скрылся из вида. А Семушка забрался в кусты с другой стороны.

Пробираясь по склонам бугров, заглядывая в самую чащу, он останавливался, слушал и замирал от тяже-

лых предчувствий. До конца перелеска оставалось немного, дальше начиналось чистое место, а на покосе Красульки не могло же быть. Там простор и жара. А если в кустах ее нет, тогда где же она, непутевая? Может, свалилась в яму-промоину?.. Или, не дай бог, где на острый сук напоролась?..

События дня, волнение и жара вконец измотали Семушку. Он даже не вздрогнул, услышав на другой стороне дороги злобно-торжествующий лай Найды, треск веток и голос Слободкина:

— Пошла, пошла... Взять ее, Найда! Гони!

Еще не веря тому, что поиски кончились, боясь радоваться раньше времени, Семушка выбрался на чистое место. Далеко впереди он увидел телку, бегущую по дороге с задранным хвостом, и гнавшую ее Найду.

— Видишь, нашлась! — проговорил Слободкин, выходя на дорогу. — Улеглась в холодке, да в такой чащобе, что мог бы пройти и не заметить...

Семушка измученно и благодарно улыбнулся сухими губами. Смахнув с лица пот, зашагал рядом со Слободкиным и неожиданно для себя все рассказал доброму дядьке. И как нечаянно уснул на остожье, и как бегал к Левинской пади, как пробирался до бугра, с которого и увидел потерянных коров.

— Да я это понял, Семен, — скупо улыбнулся ему Слободкин. — Разве тебе под силу такая работа? Зачем соглашался-то?

— Сапоги купить надо, — вздохнул Семушка.

Слободкин задумчиво посмотрел в лицо пастушка и тоже не сдержал вздоха.

— Да-а, брат... Но держаться надо, Семен... Нам с тобой этот день на всю жизнь станет зарубкой.

— Станет, дядь Яш, — кивнув головой, согласился Семушка.

— Вот как держаться нам надо теперь! — сжимая пальцы в кулак, повторил Слободкин. — Большая беда навалилась...

— Так уже все, дядь Яша! — улыбнулся удивленный Семушка. — Коровы все дома, и Красулька ваша нашлась!

— Эх, воробей! Не про то я тебе толкую. — Слободкин чиркнул спичкой, раскурил самокрутку и грустно, строго посмотрел в глаза Семушке. — По селектору пе-

редавали, сегодня утром немцы на нас напали... Война ж началась, Семен!

И не так тяжкая весть о войне, о которой у Семушки не было представления, а сам тон сказанных слов, похмурневшее лицо дядьки Слободкина ударили мальчугана по сердцу испугом. Он притих и задумался. Вокруг него млели покосы, клонилась от слабого ветра трава, разносился окрест стрекот кузнечиков и посвист птиц... Но отзывчивой детской душой Семушка почувствовал силу большой беды и понял, что сейчас не нужно говорить, а лучше подумать о таких важных делах и событиях.

Молча, понурясь, так они и продолжали свой путь по горячей дороге...

ГОРЬКИЕ ШАНЕЖКИ

Третий месяц гремела война... Третий день над полустанком моросил дождь.

От сырости все кругом насупилось, потускнело. Прибитая; лежала в огородах ботва, грустно клонились шляпки подсолнухов, на линии потемнел балласт, и вода блестела на промасленных шпалах. Дождь загнал ребятню под крыши, колхозникам не давал убирать хлеб, мешал работать железнодорожникам. Ночами морось закрывала от машинистов неяркие огни семафоров и, подходя к полустанку, паровозы начинали гудеть требовательно и сердито.

В тот день по станции дежурил отец Леньки Чалова. Переговорив по телефону с дежурным соседней станции, он вышел на крыльцо и посмотрел вдоль стены, под которой обычно собирались ребятишки. Никого не увидев, дежурный спустился с крыльца, обогнул здание и вошел в коридор жилой половины. Поторкался в одну квартиру, в другую, но они оказались закрытыми.

— Когда надо, никого не найдешь, — проворчал он, возвращаясь. — Куда это они подевались?

Проходя мимо двери в маленький и всегда пустующий зал ожидания с единственным диваном, Чалов услышал негромкую песню и заглянул в коридор зала. На сухом полу под стеной он увидел кирпичи, застеленные белыми тряпочками; около них лежала сумка с неумело нашитым красным крестом, а на одном из кирпичей прикорнул тряпичный заяц с забинтованной лапой. Тут же сидела девочка и, напевая, баюкала завернутого в лоскуты плюшевого медвежонка с перевязанной головой.

Это была Клара — семилетняя дочка начальника станции. Местная ребятня перекрестила ее в Карлу́шку, и эта дразнилка так подходила к круглолицей курносой девчушке, что даже дома ее часто так называли.

Чалов негромко кашлянул.

— Вот как... Да тут настоящий медсанбат, оказывается!

Девочка быстро обернулась, и лицо ее осветилось улыбкой.

— Не-е, дядя Саня. Я тут в больничку играю.

— Ну, больница или медсанбат — разница невелика... А что ж ты одна? Где ребята?

— Ражбежались. — Карлушка вздохнула. — Ленька ваш с Пронькой и Толиком ушли на кажарму... Варнаки шалашик в орешнике строят. А моего брата Серегу мамка в Ужловую, к доктору повежла...

— Ты когда же научишься буквы хорошо выговаривать? — улыбнулся Чалов.

Девочка опустила ресничкн.

— А вот когда в школу пойду...

За выемкой, в двух километрах от станции, поднимая в сырое небо столб дыма, пыхтел на подъеме паровоз.

Чалов присел, взял девочку за руку.

— Есть важное дело, Карлушка... Знаешь в деревне старика Колотилкина? Который продавцом в магазине работает?

Карлушка улыбнулась:

— А-а, этот дедушка салажки делать умеет, да?

— Точно! — обрадовался Чалов. — Дед Колотилкин и обеспечивает всех вас салазками... Так вот: нужно

сейчас пойти к нему и сказать, что в военном эшелоне едет на фронт его сын Николай. Запомнила?

— Ага.

— И еще скажи, что этот эшелон пройдет мимо нас часа через два, пусть поторопится. Поняла?

— Ага, — снова сказала Карлушка.

— Вот сколько! — Чалов показал растопыренные пальцы: — Два часа только. Скажи — сын Николай. Танкист. Едет на фронт. Только ты сразу беги, сворачивай свой медсанбат! — повторил Чалов и заторопился сам: паровоз уже пыхтел на выходе из выемки.

— Ладно, дядя Саня... А куклы пусть пока полежат. Я вот жбегаю домой за мешком и пойду.

— Смотри не опоздай!

Через несколько минут, сообщив по линии о прохождении состава, Чалов опять вышел на крыльцо и на тропинке к переезду увидел торопливо идущую девочку в накидке из полотняного мешка. Карлушка сложила мешок углом в угол, получившимся капюшоном прикрыла голову и спину. Так в дождливые дни делали все ребятишки.

«Добежит ли? — подумал дежурный, провожая девочку взглядом. — Старику хоть бы глазом сына увидеть. На службу Колька ушел больше года назад, а теперь, не побывав даже дома, едет на фронт. Кто знает, увидит ли еще стариков?.. Не подкачала бы кнопка малая...»

До села, лепившегося на косогоре, за широкой падью с речушкой посередине, недалеко — чуть больше километра. Взрослому или ребятам в ватажке — совсем пустяки. Но маленькой девочке, да еще в дождь, по раскисшей дороге это не просто.

До пади Карлушка добралась смело и быстро: от переезда дорога шла по чистому месту, между покосом и полем. Но в низине она отвернула к броду, а девочке нужно было идти по тропке к мостку через речку.

Узкая и сырая тропа уводила Карлушку в высокие кочки. Петляя меж редких кустов, она ничего не видела впереди и по сторонам. Только серое, в темных разводах небо низко висело над головой. Как нарочно, из ближнего куста выпорхнула большая серая птица. Карлушка замерла от страха. Привстав на цыпочки, она вся прислушивалась к опасности, которая могла ожи-

дать ее за поворотом. Как хорошо, если бы появился кто-нибудь из взрослых и перевел ее через таинственно-пугающую падь... Но не было слышно ни шагов, ни говора, ни кашля. Только капли дождя, ударяя по травам и листьям, что-то негромко и печально шептали.

До села оставалось немного. Дойти до мостка, перебраться по нему, еще пройти чуть-чуть по тропе с другой стороны речки и подняться на бугор. Там уже начинался машинный двор колхоза, стояли амбары и распахивалась широкая улица. Но туда еще надо дойти, а кругом все загадочно, страшно...

Карлушке захотелось вернуться. Она даже отступила немного, но тут вспомнила серьезное лицо дядьки Чалова, потом деда Колотилкина, сделавшего ей удобные и легонькие салазки. Без нее он же не узнает о своем сыне-танкисте...

И, сжимаясь от страха, Карлушка двинулась дальше. Вздрагивая от чавканья воды под ногами, прошла до мостка. Боясь поскользнуться на сыром, узком настиле, стараясь не глядеть вниз, в темную, как в омуте, воду, перебралась за речку. Уже когда она выходила из пади, ее напугала большая серо-зеленая лягушка. Девочка бросилась бежать изо всех сил и темной горошинкой покатилась к вершине бугра.

Только на деревенской улице она перевела дух. Но неприятности ждали ее и здесь. Когда она поравнялась с домом охотника Пронова, из-за ограды верхом на подсолнухе выскочил заляпанный до колен восьмилетний Тараска. Он подхлестнул «коня» прутиком и грозно спросил:

— Ты че пришла сюда?

Деревенские ребятишки всегда задирались со станционными, и от Тараски всего можно было ожидать. Но Карлушка постаралась не показать страха.

— По важному делу иду... К деду Колотилкину.

— Х-ха, к Колотилкину! — Тараска строго нахмурил брови. — А зачем идешь?

— Их сын, Колька, на фронт едет... С танками...

Пока Тараска обдумывал такое серьезное известие, из калитки вышел его старший брат Демка. Он турнул Тараску с «коня» и сердито спросил:

— Чего пристал к маленькой? Бабка тебя куда посылала?

Невозмутимый Тараска опять оседлал подсолнух. Но прежде чем умчаться по поручению, он скривил рожицу и пообещал Карлушке:

— Тебя еще собаки-то покуса-ают!

Демка погрозил вслед брату кулаком и сказал оробевшей Карлушке:

— Ты не слушай его, болтуна. Иди куда шла.

Торопливо шлепая по лужицам, Карлушка миновала магазинчик и скоро подошла к домику старика. Но калитка и ворота были закрыты... Потоптавшись, девочка заглянула в щель ограды и негромко позвала:

— Деда-а! Дедушка-а-а!

Ей никто не ответил. Во дворе было тихо, на улице сумрачно и безлюдно. Только дождик все шумел, лениво сыпя по крышам и лужам. Тут из проулка выбежала лопоухая собачонка. Карлушка ухватилась руками за верх ограды, потянулась и, высунувшись из-за плетня, еще громче позвала:

— Де-еда!

Ее услышали: за летней кухонькой зарычала собака. Гремя цепью, она выскочила на середину двора и залилась лаем. Но тут на крыльцо вышел сам старик Колотилкин — высокий, с окладистой бородой и черными, глубоко посаженными глазами. Увидев торчавшую из-за плетня Карлушкину голову в мешке, он спустился с крыльца.

— Ты пошто на забор забралась, птаха малая? Зачем?

— Деда, деда, — затараторила было Карлушка, но тут она сорвалась и исчезла за плетнем, шлепнувшись на траву у ограды.

Старик торопливо открыл калиточку и поднял гостью, отряхивая с нее травинки.

— Эх, неладная ты... Вот, поди, и ушиблась.

— Нет, деда, не ушиблась, — Карлушка радовалась, что добралась до места, что все ее страхи остались позади и теперь-то ее не дадут в обиду. Растопырив перед стариком два пальца, она торопилась сказать главное: — Вот, деда... Через столько часов через станцию пойдет эшелон. И в ем едет на фронт ваш Колька... Танкист!

Старик ухватил Карлушку за руку.

— Колька, говоришь? На фронт едет?

— Ага, деда... А ты, дедá, помнишь, мы с папкой приходили к вам за салажками?

— Горе ты луковое! Салазки вспомнила... Иди-ка, иди вот сюда.

Прикрикнув на собаку, дед провел Карлушку в летнюю кухню — сухую, теплую, с запахами свежего хлеба и топленого молока. Посадив гостью у чисто выскобленного стола, придвинул к ней большую чашку с румяными, пахнущими медом шанежками с творогом, налил в кружку молока.

— Поешь, птаха, поешь, — приговаривал старик. — Он тоже присел на скамью, но тут же приподнялся, встревоженно спросив: — Да ты долго ли шла сюда?

— Нет, деда, — надкусывая шанежку, объясняла Карлушка. — Я все бегом больше. А там птица ба-альшая, а я как испужаюся... Чуть и не померла сражу...

— Бог ты мой, — тормоша кисет, взволнованно говорил старик. — Колька — на фронт... А старуха, лиха ей мало, в гости уехала. Вот же неладно все как...

Так и не закурив, он сунул кисет в карман и стал шарить под столом. Достал белый мешочек, стал укладывать в него шанежки, приговаривая:

— Хоть это старуха правильно сделала... Из последней муки надумала шаньгов испечь. Колька такие любит — творожные, на медке... Эх, Колька! Вот теперь на фронт едет. Чего же еще? Ага, меду туесок положим. В подполье варенья баночка есть...

Дед направился в дом, но из-за плетня его окликнула моложавая соседка с непокрытой русой головой.

— Чего заметался, Дорофей Спиридонович?

Старик шагнул к плетню.

— Понимаешь, Ульяна, какое дело... Колька наш на фронт седни едет. С воинским эшелоном. Гостинцы вот ему собираю.

— Да ты что! А чего у тебя дома-то есть?

— Вот шаньгов насыпал, туесок меду кладу, варенья банку. Может, молока налить, а? Больше и нет ничего. И старуха не в час по гостям собралась...

— Можно и молока. Постой, лучше я тебе сейчас маслица вынесу. Сбивала вчера. А ты вот что... Ты посмотри, чего из теплого ему передать.

— Есть же, есть! — обрадовался дед. — Это ты хорошо подсказала!

Он убежал в дом, а соседка сорвала несколько капустных листьев и скрылась в своей избе.

Сидя у печки, Карлушка запивала шанежки молоком, обсыхала и отогревалась.

Вернувшись, дед положил на скамью безрукавку из мягкой овчины, шерстяные носки и варежки, кусок байки. Соседка передала ему два колобка желтого масла на капустных листах.

— Эк, бабья сноровка! — похвалил дед.

— Сейчас, погоди, еще кукурузы принесу, — сказала соседка. — Только сварилась. Сунешь в мешок, — им, солдатикам, в охотку будет. Это им что в родном доме побывать...

От спешки у деда все валилось из рук, не умещалось в сумке. Карлушка взялась ему помогать, но тут в кухню вошла соседка. Она вытряхнула все из сумки, уложила по-своему. В один носок сунула банку с вареньем, в другой — туесок с медом и обернула их куском байки. В женских руках все получалось легко, ловко, быстро. Через минуту сумка была собрана. Сверху в нее положили белый мешочек с шанежками.

— Иди, старый, иди скорей, — торопила соседка деда. И тут же вздохнула. — Мой-то вот где теперь? Второй месяц письмеца нету...

Дед тоже вздохнул.

— Напишет, Ульяна... Плохого не думай, напишет.

Выйдя за калитку, он быстро зашагал вдоль улицы. Карлушка едва за ним поспевала. Старик перехватил сумку поудобнее и протянул девочке руку.

— Давай-ка опорину, сорока-белобока... Поди, упарилась под своим мешком?

— Ой, да и нисколечко...

Около дома Проновых Карлушка опять увидела Тараску и, не удержавшись, показала ему язык. Тараска обомлел, захлопал глазами, потом погрозил кулачком, но сунуться не посмел.

День уже близился к закату, когда Карлушка с дедом, перевалив падь, подошли к переезду. Все так же, то густея, то затихая, моросил дождь, и Карлушке было до смерти обидно, что ребятишки отсиживаются по домам и не видят, как она идет рядом с дедушкой из деревни. Посмотрели бы — тогда бы узнали, что и Карлушка кой-чего стоит...

Чалов встретил их на крыльце. Поздоровался с дедом за руку, погладил Карлушку по голове, улыбнулся и похвалил:

— Ну молодец, кнопка! Не испугалась, дошла.

— Дядя Саня, — перебила его Карлушка и, растопырив два пальца, спросила: — А прошло... столько... часов?

— Успели вовремя!

Они вошли в кабинет дежурного, сели на диван, стоявший у стены, против аппаратов и стола. Закурив с дедом, Чалов объяснил, что о Кольке ему сообщил дежурный с соседней станции, тому позвонил другой дежурный, а другому — еще более дальний... Так по цепочке и шла эта весть, переданная дежурным с большой станции, к которому во время остановки эшелона успел забежать сам Колька.

— Вот оно как, — проговорил старик. — Не поленились, значит, люди, уважили просьбу солдата...

Услыхав звонок, Чалов подошел к аппарату. Нажав нужную кнопку, крутанул ручку и снял телефонную трубку. Послушал, посмотрел на часы, нахмурился. Повесив трубку на рычаг, вернулся к столу, что-то записал в журнале и только тогда повернулся к деду.

— Наш идет, воинский... Только с опозданием он идет. Состав тяжелый, а тут все подъемы. Не будет ему остановки у нас... — В аппарате опять что-то щелкнуло, коротко прогудело, и Чалов вздохнул: — Ну вот... Узловая дает составу прибытие.

— А если... — Дед помолчал и, вроде стесняясь, негромко договорил: — Если не сразу ему семафор открыть, а?

— За такое, отец, тюрьма мне, — так же тихо ответил дежурный. — У нас в журналах отмечается и когда поезд прибывает, и когда другому открывается путь. Задержу я состав, к тому же воинский, а машинист скажет, что опоздал из-за закрытого семафора. Почему, спросят, был закрыт семафор, если прибытие дано вовремя?

Старик снова вздохнул и склонил голову. Карлушке, притихшей в углу дивана, тоже очень хотелось, чтобы состав остановился, чтобы дед встретился со своим сыном Колькой, едущим на далекий и страшный фронт. И, жалея старика, она соскочила на пол.

— Деда, а ты жнаешь как жделай? Вот как папка мой один раж делал. Поежд шел, а он вжял ужел в руки и ка-ак швырнет его прямо в дверь-то!

— Это ты правильно говоришь, — одобрил Чалов. — Да, — спохватился он, — а ты написал сыну хоть пару слов?

— Когда бы? — развел руками дед. — И так все бегом...

Из ящика стола Чалов достал бумагу, придвинул чернильницу с ручкой.

— Садись, пиши... Еще есть пять-шесть минут.

Дед пристроился у стола и, размашисто двигая ручкой, начал писать Кольке письмо. Чалов вышел на крыльцо, чтобы увидеть приближение поезда. И опять маленькой Карлушке хотелось, чтобы поезд шел тише, чтобы больше успел рассказать дед сыну. Но дежурный скоро вернулся, сказал:

— Пора... Уже показался из выемки.

Заторопившись, дед сунул письмо в сумку, обмотал ее горловину тесемкой, и они втроем вышли в предвечернюю мглу.

Укрывая лицо от дождя, Карлушка ждала. Поезд издали был похож на длинотелое чудовище, гремевшее железными суставами. Паровоз уже выбрался на ровный участок и бодро набирал скорость.

— Ты ближе, ближе к составу, к той колее становись! — прокричал Чалов деду. — Смотри, во-он, вроде бы, машут!

Обдав всех паром, паровоз проскочил мимо, и за ним потянулись платформы с танками. Под частый перестук колес приближались коробки вагонов. Увидев в дверях одного из них человека с поднятой рукой, Карлушка, подпрыгнув, звонко крикнула:

— Еде-ет! Вот он, деда!

Колотилкин приготовился и, когда вагон поравнялся с ним, бросил мешок, целя в приоткрытую дверь. Перетянутый ремнями, в гимнастерке с распахнутым воротом его сын Колька потянулся, стараясь подхватить сумку, но она ударилась низковато и, отброшенная стенкой вагона, отлетела в сторону. Танкист опять поднял руку, и через шум состава прорвался его крик:

— Будь здоров, батя-я!.. Прощай!

Эшелон уже гремел за переездом, а дед все стоял

в междупутье, не в силах оторвать взгляда от сигнальных огней на хвосте поезда. Он как будто все еще слышал и видел своего Кольку, исчезнувшего вдали с поднятой рукой.

— Надо же! — с горечью проговорил Чалов, подойдя к старику. — Не додумались дверь шире открыть... Эх, черт, досадно-то как!

Старик, не повернув головы, все так же глядя вслед поезду, негромко сказал:

— Молодые они... Ждали, видишь, а с дверью-то не подумали. Молодые...

Чалов ушел в станцию докладывать о прохождении эшелона.

Согнувшись под мокрым мешком, расстроенная Карлушка смотрела в спину согнутого горем старика, не зная, что ему сказать и что сделать. Тихонько подошла к отброшенной сумке, рядом с которой белел выпавший мешочек с шанежками. Уложив его на место, девочка протянула сумку старику.

— Вот, деда. Вожьми...

Старик обернулся, машинально взял сумку и, все еще поглядывая вдаль, с горечью выдохнул:

— Видишь, как оно у нас вышло все? Неладно-то как...

Махнув рукой, он хотел было идти, и только теперь увидел в своей руке сумку. Достал белый мешочек и протянул девочке.

— На-ко вот...

— Не надо, деда, — прошептала Карлушка. — Не надо...

— Бери, птаха, бери... Нам со старухой эти шаньги горькими будут.

Сгорбившись, старик двинулся по тропинке, к переезду. Прижимая гостинец, девочка постояла в нерешительности и тихо пошла к дому.

Пройдя за угол, она остановилась у затишной стены и достала из мешочка шанежку. Чувствуя все тот же медовый запах, надкусила румяный краешек и, повернувшись, удивленно посмотрела вслед старику... Шанежка была сладкой, как и те, которые она ела в кухоньке деда.

МУЖИКИ

Сойдя с поезда, Прозоров направился было в деревню, но, подумав, свернул на тропинку к озеру: на погоду, а может просто с усталости ныла простреленная нога и побаливало плечо, где остался осколок снаряда.

Прихрамывая, он добрался до густых тальников на берегу. Стянув сапоги и расстегнув ворот гимнастерки, прилег на траву, всем телом чувствуя облегчающую прохладу, слыша, как окружающая тишина наполняется звуками. Рядом в тальниках проворковал дикий голубь. В высокой траве шуршал старыми листьями невидимый зверек. У середины озера плеснула рыба. А над травой и кустами то и дело проносились ласточки, метались стрекозы.

Все вокруг было мирно, спокойно, но Прозоров-то знал, что на этой самой земле уже второе лето грохочет война. Год назад он был цел и здоров, а теперь позади у него ночные атаки в подмосковных лесах, шесть месяцев госпиталя, две операции. Всего лишь год — и

вот уже нет учителя физкультуры Прозорова, а есть Прозоров — инвалид войны.

Пошарив в кармане, он достал пачку папирос, закурил и опять затих, уперев подбородок в сжатые кулаки... В другое время ему показались бы странными и до обидного непонятными перемены, случившиеся в его судьбе. Всего лишь год, а как перевернулась жизнь. Теперь он уже не открывает двери классов и спортивного зала. Вместе с председателями сельских Советов он заходит в дома незнакомых людей и говорит: «За вами, хозяин, недоимка по госналогу...» Хозяин разводит руками, жалуется на трудности, просит подождать хотя бы до осени. «Фронт ждать не может, — говорит он. — И на военный заем надо бы подписаться щедрей». «Да разве ж мы против? — объясняют ему. — Но поймите, погодите чуток. Вот продадим кой-чего с огорода...»

Выходя из избы после таких разговоров, он смахивал со лба пот, перекуривал у плетня и шел дальше, к другому дому.

И так каждый день... Кто платит, кто отсрочки просит. Понимают люди, что налоги война подняла, что надо помогать фронту, но если нет денег, то хоть криком изойдись — их не будет. Все фронт забирает. В колхозных амбарах одни семена остаются. И все же приходится опять говорить людям: «Давай!» И они дают. А кто дает-то? Крепкий народ на фронтах, тут одни бабы, старики да подростки в полях и на скотных дворах. Сами сидят на картошке, а фронту отправляют хлеб, мясо, сало. Последние копейки отдают, чтобы были у армии пушки, танки и самолеты...

Мысли Прозорова неожиданно потревожили частые всплески с озера. Послышался сердитый мальчишеский голос:

— Ты, Санька, в штанах искупаться хочешь?

— Да черпаю я, видишь? — отвечал другой, тонкий голос и виновато, с обидой: — Дыр-то в ём сколько!

Приподнявшись, сквозь прибрежные кусты Прозоров увидел длинное корыто, медленно и тяжело плывущее по озеру. На корме стоял коренастый мальчишка с непокрытой головой, в расстегнутой рубашонке. Упираясь длинным, рассчитанным на большую воду шестом, он направлял корыто к берегу, и почти в такт его толчкам из-за обшарпанного края борта появлялась голова еще

одного мальчугана — лет семи, с выгоревшим чубом. Жестяной банкой меньшой черпал из корыта воду и выливал за борт.

Причалив шагах в двадцати от Прозорова, мальчишки вытянули посудину на песчаную отмель. Подвернув штаны, старший вошел в воду. Выдернул скрытый под рябью колышек, выбрал привязанную к нему веревку и, отступая на песок, потащил за собой мордушу из тальниковых прутьев.

— Есть, Матвей, есть! — хлопнув в ладошки, радостно закричал маленький. — Смотри, как в середке хлескает!

Старший молча отволок мордушу подальше от воды и, открыв горловину, высыпал рыбу на песок. Пытаясь рассмотреть улов, заинтересованный Прозоров потянулся из кустов, держась за ближние ветки.

Опростав мордушу, мальчишка вытащил еще одну. Его напарник запрыгал на теплом песке и опять торжествующе закричал. Старший тут же наградил его подзатыльником:

— Сглазить хочешь?

Это «сглазить», знакомое всем поколениям мальчишек, затронуло душу Прозорова, вызвало вздох о собственном деревенском детстве. В памяти промелькнули кривуны и плесики речки Большанки, ворчня матери из-за цыпок на поцарапанных, не знающих летней обувки ногах, гордая радость от улова, умещавшегося на тальниковом прутике, уговоры с погодками о сохранении тайны про уловистые места. И, не удержавшись, Прозоров, уже не таясь, направился к незнакомым мальчуганам.

Ребята успели вытащить третью, — видно, последнюю мордушу и, сидя на корточках, укладывали рыбу в солдатский вещмешок. Они были заняты делом и, чтобы внезапным вторжением не вспугнуть их, не покоробить радость добытчиков, Прозоров, выходя из кустов, негромко спросил:

— Ну как, мужики, на жареху-то будет?

На него вскинулись две пары одинаково больших и разных по цвету глаз. Но смотрели мальчишки без страха, с удивлением разглядывая босоногого молодого дядьку в галифе и распахнутой солдатской гимнастерке, с медалью на груди.

Прозоров улыбнулся, кивнул на блестевших карасей, гольянов и темных ротанов, похвалил:

— Ну-у, у вас и на жареху, и на уху хватит!

Старший из мальчишек серьезно ответил:

— У нас и артель немалая.

— Что за артель? — осторожно припадая на больную ногу, поинтересовался Прозоров. — Семья, что ли?

— Семья что... Я в доме третий, — по-мужицки рассудительно ответил Матвей. — Да на свежину едоки завсегда наберутся...

Шмыгнув облупленным носом и торопясь стать полезным при разговоре старших, Санька объяснил:

— Мы, дядька, для двух дворов рыбу ловим. И еще на бригаду! Покосчиков ухой кормим...

— А рыбу берете подряд? — спросил Прозоров, бросая в мешок «зевающего» карася.

— Не-е, — опять поспешил маленький. — Каку чистить неловко, — обратно в воду пускаем.

— Мы тоже так рыбачили, — снова улыбнулся Прозоров. — Мелочь обратно кидали и просили у бога рыбку побольше.

— Ха, бога-то нет, — подсек его Санька. — Мамка сказывала, был бы бог, так он бы войну не пустил по земле...

— А рыбалил ты где? — перебив приятеля, спросил Матвей.

— Далеко, брат! — Прозоров улыбнулся, махнул рукой. — Далеко и давно. В самом детстве...

— Хитрый! — крутнув головой, хихикнул Санька и глянул на старшего: — Видал, Матвей? Не говорит, где!

— Ну почему же хитрый? — запротестовал Прозоров. — Если уж точнее, то на Большанке. Около райцентра которая, знаешь?

— Во-он с каких мест... — протянул старший. — А к нам-то зачем?

— Уполномоченный я, Матвей... По финансам инспектор. Из района приехал к вам поездом, шел от полустанка да вот не дошел...

Прозоров заметил, как при слове «инспектор» вскинулись взгляды ребят, лица их стали серьезными и озабоченными. И Матвей, помолчав, вздохнул:

— Налоги, значит, собираете...

— Налоги, — подтвердил Прозоров. — Напоминаю людям, что от них требуется...

— А думаешь, они сами того не знают? Да было бы чем налог платить, так бы и ждали, пока им скажут?

Санька бросил в мешок последнюю рыбешку, вытер ладони о штаны и похвастал:

— А мы для фронта одежку собирали. Моя мамка из старой шубы аж десять рукавиц сшила. Вот!

Прозоров одобрил:

— Теплые рукавицы на фронте нужны.

— А ты воевал? — глянув на медаль, спросил Матвей.

— Воевал, — нахмурился Прозоров. — Только отвоевался, жаль.

— Чего ж так? — поинтересовался Матвей, сооружая из травы новую затычку для мордуши.

— А так... В бедро крупнокалиберная попала, а в плече осколок от снаряда сидит. Вот и вылетел из обоймы.

— Ух, я бы этих фрицев! — маленький Санька притопнул ногой и замахал кулаком.

Но Матвей насмешливо посмотрел на друга и осадил его:

— Расхрабрился! Там и не таких убивают. — Он повернулся к Прозорову: — У нас в деревне уже в четыре дома похоронки пришли... Что пустое брехать. Каждый человек при своем деле находится, о деле и должен говорить. О том, что ему по силам.

«Мудрец...» — тая усмешку, подумал Прозоров и, закурив, вертя в руке коробок, вдруг вспомнил недавний разговор в районном комитете партии.

Через месяц работы на новой должности он пришел в райком.

— Не могу, — сказал секретарю. — Не могу требовать, штрафовать, видеть слезы... Не могу! И смотрят на меня, как на личного врага. Пошлите в депо. Паровозы ремонтировать буду. Сколько сил хватит...

Он ждал шумного разговора и был готов к нему. Но секретарь внимательно посмотрел на него, устало потер седые виски, негромко спросил:

— А ты почему не носишь свою медаль? Тебе ж ее за отвагу дали. — Помолчал и заговорил с тем же

спокойствием, негромко, вроде сам с собой: — Знаешь, товарищ Прозоров, я вот тоже устал нажимать, убеждать, требовать. Устал. И мне хочется иногда попросить, чтобы рекомендовали на мое место другого. Но вот подумаю обо всем хорошенько... Разве другому легче будет эти обязанности выполнять? Ведь и у другого душа, сердце и вся нервная система со слабостями... А делать порученное дело надо же. Надо, понимаешь? От жизни не уйти, не спрятаться.

Секретарь замолчал, склонив голову. И Прозоров тихо поднялся со стула. Уже открывая дверь кабинета, услышал:

— Медаль-то надень... С ней тебя лучше понимать будут.

Послушавшись, Прозоров скоро понял, что с медалью на груди он был для людей не просто налоговым инспектором, а человеком с фронта, имеющим больше прав на требовательность, и те же слова его о деньгах, займе, поставках воспринимались острее, и о той же нужде говорили с ним легче, проще. Но нужда есть нужда. А если она каждодневная, то от нее никуда не денешься.

И теперь, сворачивая к озеру, Прозоров хотел не только передохнуть, дать успокоиться ранам, а хоть на время забыться от давящих душу обязанностей, просто побыть наедине с солнцем и тишиной. Но и это оказывалось несбыточным. Случайная эта встреча, сам разговор с мальчишками возвратили его к тому, от чего и на время отойти невозможно.

Оторвавшись от своих мыслей, Прозоров посмотрел, как ребята готовятся забросить мордуши, поинтересовался:

— А ты, Матвей, о какой артели говорил, если сам в семье третий?

Мальчишка растирал внутри мордуши картофелину и ответил не сразу.

— Я третий... А Цезарь — он мотнул головой в сторону меньшого, — пятый в семье. И он один мужик на весь дом. У них мать, бабка старая и две сестренки, по четыре годочка всего...

— Близнята они, — сверкнув глазами, опять хвастанул маленький.

— Понятно! — Прозоров улыбнулся, видя, как лов-

ко тот затягивает на мокром мешке сделанную петлю. — А почему тебя то Цезарем, то Санькой зовут?

Мальчишка быстро взглянул на Матвея и, отвернувшись, отошел, вроде рассматривая что-то за большим кривуном озера.

— Его по-всякому кличут, — негромко объяснил Матвей. — В метрику-то он Цезарем вписан, а уж Санькой его бабушка окрестила... Отец его в эмтээсе трактористом работал. А наши мужики его «докладчиком» звали. Болтать любил, грамотея из себя корчил, с бригадирами ругался да водку пил. А когда вот он народился, отец, значит, пошел в сельсовет метрику выправлять... Выпивши, как всегда. Ну и придумал Цезарем назвать. Тетка Мария — сельсоветская председательша — такое имя даже в книгу не хотела писать. А он уперся — и все... — Матвей сердито плюнул и закончил с презрительным осуждением: — «Докладчик!» А перед войной уже, как две девчонки у них появились, — и вовсе в город намылился...

Слушая эту историю, Прозоров опять перехватил быстрый взгляд Цезаря. Понимая, что говорили о нем, об отце, готовый ко всему, мальчишка торопился узнать, что теперь сделает, как поведет себя дядька с медалью на груди.

Прозоров подошел к нему, положил руку на плечо, спросил:

— А где же отец теперь?

Цезарь пожал плечами и грустно улыбнулся, опять отворачивая лицо.

— Да говорили, на фронте, — ответил за него Матвей. — Только сам он им не писал...

— Напишет! — с неожиданной для себя уверенностью проговорил Прозоров. — Обязательно напишет, ребята! — Он встряхнул Цезаря, прижал к себе. — Вот хлебнет горя, жизни помолится под бомбежками да минометным обстрелом, тогда и вспомнит вас. Он будет писать. Война каждого и так и сяк проверяет, всего выворачивает наизнанку. Да, а ты знаешь, кем тезка-то твой был?

— Знаю, — вздохнув, ответил маленький. — Сказывали, — кесплутатор!

— Ну, не совсем так, — с той же серьезностью возразил Прозоров. — Конечно, Гай Юлий Цезарь эксплуа-

тировал рабов, но тогда, знаешь, время другое было. А сам Цезарь вошел в историю как великий полководец, оратор, писатель...

Объяснение мальчишке понравилось, он улыбнулся и уже смелее, как раньше, прищурил голубые глаза.

— Поди-ка, выдумываешь, дядь?

— Зачем же? Какой резон мне обманывать?

Войдя в воду, Матвей воткнул колышек с привязанной к нему веревкой и, размахнувшись, забросил мордушу. Цезарь посоветовал бросать подальше, на глубину, где крупняк жирует. И тут же озабоченно спросил:

— Взавтреве, Матюш, надо бы проверить опять, а? Теплынь стоит, задохнется рыба... Как думаешь?

— Посмотрим, — выходя на берег, солидно ответил старший. — Будет время — проверим...

— Нам завтра на покос или к телятам?

— С утра будем с телятами.

Прозоров спросил:

— А чьих телят вы пасете?

— Колхозных, чьих же еще... Мы с Санькой за малышами присматриваем, с матерью его вперемену. Она-то на покос ходит. Вот тогда и пасем молодняк.

— Непутевые они животины, телята эти, — сердито проговорил Санька. — Лезут всегда куда и не нужно вовсе... А вот с конями хорошо! В озере их можно купать, копны верхом возить...

— С конями всегда хорошо, — улыбнулся и Прозоров. — Я тоже когда-то копны возил.

— Да нам-то коней дают не всегда, — усмехнулся Матвей. — Вот когда конюхом был дядя Федор Орлов, у нас и скачки устраивались, и мы вперегонки гоняли. Да забрали Федора на фронт, а конюхом Серафима поставили. Этот говорит, что малы мы к коням.

— Не признает, значит?

— Да ну его... Вожжами шуганул от конюшни.

Настраивая последнюю мордушу, так же неторопливо, с редкими проблесками улыбки, Матвей рассказал, как они провинились перед конюхом. Оказывается, мальчишки после работы на покосе сразу погнали мокрых коней к водопою. А этого делать нельзя — коней застудить можно. За это и ругал их всех Серафим.

Слушая Матвея, Прозоров отчетливо представлял себе этого Серафима — в расстегнутой рубашке, с вож-

жами в узловатых, до локтей обнаженных и коричневых от загара руках: чувствуется, что этот Серафим с детства влюблен в лошадей — красу и гордость каждого крестьянского села.

И тут ему опять вспомнились детство, теплая ночь, костерок на сухом, обдуваемом косогоре, рядом с Большанкой, голубые тени от голубых в лунном свете деревьев. Туман тихо растекается по низине, а из его белой толщи слышно сочное похрумкивание пасущихся лошадей, голоса колокольчиков, привязанных к могучим шеям... И они, мальчишки, в ночном, равные среди равных, уже знающие цену дружбе, мечтают у лоскутка пламени о дальних странах, о неизведанном, что скрыто за линией горизонта.

Глухая тоска о прошедшем и боль в ноге напомнили ему другое. Недавнее, страшное... Он увидел другую ночь и другую низинку, услышал те пулеметы. Как они хлестали, как торопливо выплевывали вложенную в них смерть! Рота наших солдат полегла в той кочковатой низинке. Десятки молодых, здоровых, хороших людей...

И теперь Прозорову казалось, что тогда, падая на отбитом у врага пригорке, обожженный пулей, он тоже помнил тот косогор у Большанки, костерок, голоса колокольчиков. Но, может, это только казалось...

— И куда же вы сейчас? — спросил он ребят, оголаскивающих руки.

— Домой, а потом — на покос, — повернув широколобую голову, ответил Матвей. — Бригаду кормить надо. На затирухе стога вершить трудно.

— Председатель тоже там?

— Председатель-то наш на фронте, — Матвей отошел к корыту, помолчал, прищурился, рассматривая его. — Заместо него пока бригадир поставлен. Вот он и вершит с мужиками. Работает день, а потом стонет ночами. Хворый он, желудком какой год мается...

— Что же в больницу не съездит?

— Да как же ему ехать? — нахмурился Матвей. — Сейчас самый покос, вот-вот уборка начнется.

Маленький Цезарь тоже вставил слово:

— На машинном дворе еще комбайн неремонтированный стоит... А тут кузнец запил. Третьего дня ему похоронка на сына пришла...

— Делов много, — вздохнул Матвей. — Только вертись.

Разговаривая, Прозоров помог ребятам слить из корыта воду. Они уложили в него единственное весло, шест, доску-скамеечку и мешок с рыбой. Став с шестом на корму, Матвей оттолкнулся от берега, потом подвел корыто носом к отмели, чтобы младшему было легче в него забраться. И едва тот сел, сразу распорядился:

— Бери банку, вычерпывай!

Потом, спохватясь, он предложил Прозорову:

— А то садись с нами? Мы за озеро перевезем, а напрямую тут ближе.

— Да нет уж, — махнул рукой Прозоров. — Через мосток пойду.

— Я как лучше хотел.

— Ничего. Бывайте, ребята. А ты, Цезарь, никогда не хвастай уловом. Сглазят!

Маленький, очень довольный тем, что его не обошли при прощании, высунулся из-за борта корыта, сморщился и проговорил с восхищением:

— Смотри ты какой! Хитрый!

Корыто толчками приближалось к теням деревьев, росших на другом берегу. Проводив его взглядом, Прозоров медленно направился к кусту, под которым оставались его сапоги, фуражка и полевая сумка.

Он обулся, перетянул себя солдатским ремнем и подхватил сумку со списками налогоплательщиков. Вспомнив слова Матвея о каждом человеке при его деле, горько усмехнулся, поднял голову и на другой стороне, за гребнем тальников, опять увидел ребят. Чуть сгибаясь под тяжестью мешка, впереди шагал Матвей, а за ним, белея рубашкой, поспешал маленький Цезарь. Оба шли размашисто, твердо, как ходят люди, имеющие трудные заботы и важные дела.

РЫБНЫЙ СУП

Весну сорок третьего года ждали все с нетерпением: уж больно круто обходилась с людьми зима. Она давила морозами, гнула метелями и вокруг полустанка навоpотила таких сугробов, что и не верилось, смогут ли они растаять до лета.

В стужу ребятишки отсиживались по домам. С нетерпением ждали марта, но март пришел, а тепла все не было. Все так же блестели под солнцем сугробы, с вечера и до утра потрескивал за окнами мороз.

Только к апрелю потемнел и стал оседать снег, появились проталины. Они расширялись, и как-то незаметно получилось, что от сугробов остались грязноватые оплывки, да и то в кустах и с северной стороны железнодорожной насыпи. Прилетели чибисы, жаворонки, утки. И тогда даже дед Помиралка сказал, что это весна.

У ребят начались игры на улице и дальние походы за выемку — в сопки. Да и на самой насыпи, на откосах линии интересно бродить. После того, как сошел снег, находились там иногда картонные коробки, ярко

раскрашенные баночки из-под американских консервов. Из таких баночек мужики делали себе табакерки под самосад... Случалось кому-то находить на линии ножик-складешок, кожаный повод с кольцом, железку, нужную в хозяйстве.

Бредя по линии, ребята незаметно добирались до сопок. В низинах между ними срывали неопавшие ягоды шиповника, выпугивали краснобровых косачей, ловили бурундучков, сусликов. А то залезали на самую высокую вершину, затихнув, глазели в затянутые дымкой распадки и мечтали о летних походах, а потом с гиканьем скатывались по крутому песчаному срезу...

На приволье все хорошо! А когда солнечно и тепло — никакой силой не удержать ребятню дома.

Дождавшись такого вот светлого дня, апрельским воскресеньем отправились в сопки Ленька Чалов со своим дружком Пронькой Калиткиным. А за Пронькой увязался его младший брат Толик.

Налазились ребятишки по обгоревшим с осени склонам, поставили капканы на сусликов и уже под вечер, уставшие и голодные, двинулись домой. Шли линией, петляющей среди сопок, шмыгая носами, шаркая каблуками по жесткому балласту.

Обратная дорога всегда почему-то скучнее. А тут еще, едва вышли из выемки, почувствовали, что не так-то тепло на дворе. Над насыпью проносился тугой северный ветер. Он рябил воду в канаве под откосом, гнул кусты и обдавал холодом, заставляя втягивать голову в плечи.

Продрогшие, друзья двигались молча, нахохленно. Догоняя их, в сопках тяжело — на подъем — шел поезд. Вглядываясь вперед, где серели дома полустанка, Пронька сказал:

— А семафор-то закрыт!

— Стоять будет, — отозвался Толик. Увидев два вихревых столба, взметающих травинки, прошлогодние листья и пыль, он оживился, дернул Леньку за рукав. — Глянь, глянь! Вихри бегут, вихри!

Ребятишки остановились, стали смотреть. Как живые, качаются вихри. Бегут-бегут, приостановятся, покрутятся на месте — и дальше, в глубину пади.

— Бывают вихри такие, что и человека закрутить могут, и паровоз от земли поднять, — сообщил Пронька.

— А дед Помиралка сказывал, — заторопился Толик, — что это и не вихри совсем, а души померших. И что бегут они все к покойникам...

— А что думаешь, и бегу́т. — Пронька говорил уверенно, как старший. — В прошлую весну, когда хоронили Тоню Сиренкину, знаешь сколько их к кладбищу дуло! Так и чесали, так и чесали через пади и сопки. Как только в кочках не запутались...

Ленька не встревал в разговор, шагал молча, пряча лицо за воротом старенького пальтишка. Он и промерз посильнее Калиткиных — пальто было выношенное, да и Пронька, конечно, все лучше знает. Он на год старше, учится уж в третьем классе, а Ленька второй лишь заканчивает. Он только вздохнул, вспомнив покойную тетку Тоню. Красивая была. Да видно, правду взрослые говорят: счастье не в красоте. Вышла тетя Тоня за летчика, прожила с ним всего ничего, и тут его на фронт взяли. Месяца через три пришла похоронка, не застряла ж в дороге... С горя красивая тетка вроде бы не в уме стала и руки на себя наложила.

— Глупая, вот глупая, — сидя на завалинке, тихо осуждал ее дед Помиралка. — Хоть и покойница, прости меня господи, а к горю еще горя прибавила...

Поезд уже выбрался из выемки, стал приближаться, и ребята сошли на колею встречного пути. Все так же сгибаясь, Пронька с Толиком шагали к дому, а Ленька отстал, всматриваясь в состав, определил — воинский.

Мимо него потянулись теплушки, платформы с пушками и тягачами под брезентом. В открытые двери теплушек выглядывали матросы в тельняшках.

Замедляя ход, но не желая останавливаться на подъеме, паровоз беспрестанно гудел, требуя дороги. И, словно подчиняясь его гудку, рычаг семафора дрогнул, поднялся. Паровоз сразу запыхтел чаще, по составу прокатился перестук буферных тарелок, и эшелон стал набирать скорость.

Жалея, что поезд не остановился, что не удастся рассмотреть пушки, перебросится словом с матросами, понурясь, Ленька заторопился вслед за друзьями. Но тут его остановил звонкий окрик:

— Эй, пехота, держи!

В открытой двери теплушки Ленька увидел скула-

стого матроса в поварском колпаке и белой куртке поверх тельняшки. Улыбаясь, он изогнулся и бросил Леньке голову здоровенной кетины. Ленька на лету поймал ее, прижал обеими руками к груди и, обрадованный, закричал во всю силу:

— Спасибо, дядь! Спасибо-о!

Но мимо Леньки уже постукивали колеса других вагонов, а куртка белела далеко впереди.

Ленька догнал товарищей.

— Во, ребя, смотрите какая!

Мальчишки молча осмотрели подарок. Голова была большая, тяжелая, с крепкими загубниками и темным широким лбом. Отрезали ее неэкономно — подальше к туловищу, за плавниками.

— Кета! — определил Толик. — Здоровучая! На всех, Лень?

Мальчишки обычно делились находками. Голодные, они не брезговали поднятым с насыпи куском сухого хлеба, яблоком с пятном или небрежно срезанной шкуркой шпига. Но тут Ленька прижал рыбью голову к груди и, отворачиваясь, проговорил:

— Домой снесу! — Он сунул подарок за пазуху и, не глядя на друзей, добавил: — Мы про рыбу не договаривались. Ее же мне дали...

Пронька, усмехаясь, молчал.

— Ну хочешь, откуси, попробуй! — пошел на уступку Ленька.

Но Пронька отказался, зашагал дальше. А Толик не утерпел, откусил кусок сочного мяса. Пожевав, мазанул ладошкой по губам, и, догоняя брата, оценил:

— Скусная!.. Солененькая... Спробуй, Проньк, спробуй!

Но тот шагал, не оборачиваясь, сунув руки в карманы, а Ленька, опять спрятав рыбью голову за пазуху, сказал, оправдывая себя:

— Мне мамка велела все домой приносить...

— Зажадничал! — крикнул, обернувшись, Толик, мстя за собственную слабость перед соблазном.

— Сразу и зажадничал, — обиженно отозвался Ленька, не хотевший ссоры с приятелями, но уже представлявший радость матери от такого подарка. — У нас-то иждивенцев двое, и папки нет.

Братья, не слушая его, шли впереди, и Ленька от-

стал со своими думками. «Разве же я неправду им говорю? — убеждал он себя. — У них и на отца карточки есть, и на мать. А у нас-то одна мамка работает. Хлеба всегда не хватает. Тит маленький плачет да плачет... Мамка ругается все, и от папки давно писем нет... Чего ж тут не понять-то?»

В трудные минуты Ленька всегда вспоминал отца. С ним он часто просиживал в небольшой комнате дежурного по станции. Отец рассказывал ему, как управляются семафоры, объяснял устройство аппарата Морзе, передающего сообщения не буквами, а точками и черточками на узенькой бумажной ленте. Ленька замирал в уголке дивана, когда отец, проводив поезд, нажимал кнопку селектора и раскатисто звал: «Диспетчер-р!» Откуда-то доносился строгий голос, и тогда отец докладывал, что поезд под таким-то номером проследовал через станцию. Иногда отец добавлял: «Прошел с минусом три». Это означало, что машинист провел поезд по перегону на три минуты раньше положенного времени.

Когда отец сдавал дежурство, Ленька приноравливался к его усталому шагу, и они возвращались домой. Летом, бывало, шли на покос, во влажные по-вечернему травы. А то сворачивали на огород, собирали огурцы, подкапывали молодую картошку. Ленька уже ждал, что скоро отец возьмет его с собой на утиную охоту, да вот не вышло...

На фронт отца призвали на втором году войны, в середине лета. Из военкомата он вернулся жарким полднем, в аккурат в смену путевых обходчиков. Мужики сидели в тени тополей на станционном крыльце, — все в одинаковых куртках с белыми железнодорожными пуговицами, все затянуты ремнями с коробками для петард и с кожаными чехлами сигнальных флажков. Лица у обходчиков темные — то ли от забот, то ли от морозов, ветра и летней жары.

— Кончилась моя бронь, мужики, — подойдя к крыльцу, сказал отец. — И на уток охота кончилась...

Обходчики вскинули на отца задумчиво-грустные взгляды, покивали молчком, зашуршали бумагой для самокруток. Слободкин — частый напарник отца по охоте — спросил:

— Когда, говоришь?

— Завтра к вечеру велено быть в сборе.

Слободкин помолчал, потом негромко сказал, вроде как сам себе:

— Значит, эшелон опять в Узловой сформируют...

Переговорив с мужиками, отец, а за ним и Ленька пошли к себе.

Матери дома не было: доила в стайке корову. Вошла она с подойником в руке, остановилась у порога, глядя на отца немигающим взглядом широко открытых глаз.

— Да, мать, пришел черед! — Отец сказал это легко, как у станционного крыльца, но вдруг осекся и договорил со вздохом: — Готовь смену белья, ложку с кружкой...

Ленька боялся, что мать заплачет в голос, но она поставила подойник на лавку, перевернула приготовленную крынку, сцедила в нее молоко. Потом прошла к зыбке, подвешенной рядом с кроватью, взяла на руки проснувшегося Титка. Все так же молча, думая о своем, распахнула кофту, и только когда Титок, сладко причмокивая, замолчал, спросила:

— Еще кого взяли?

— Из наших-то никого, — закуривая у стола, ответил отец. — С других станций собирали народ.

Мать еще ниже склонилась к Титку, не видя, не убирая упавшие с виска волосы. Ее молчание было тяжелее слез, и, не выдержав, Ленька вышел на улицу.

Заплакала мать вечером, когда легли, когда свет погасили. Сначала негромко, приглушенно, а потом взахлеб, с причитаниями. Она все хотела что-то сказать, но слова глушились рыданиями. Отец молчал, только часто подносил к лицу красный огонек цигарки. И лишь когда мать выплакалась, он стал объяснять ей, что никого другого с их станции взять невозможно: начальник совсем больной, а у Калиткина полступни нет. Да и нельзя дорогу совсем без людей оставлять. На станцию направляют девушек-практикантов из Узловой. Им тоже прислали одну холостячку. Она уже дежурит самостоятельно.

Мать молчала, слушала. Может, соглашалась, а может, думала, каково ей придется одной с двумя на руках. А отец все говорил, говорил... Советовал, где поставить стог сена, просил получше присматривать за

ребятами да припас его — дробь там, капсюли, порох — оберегать, потому что Ленька подрастает, глядишь сможет утей промышлять...

Ленька все слушал, а потом незаметно уснул. Спали ли отец с матерью в ту последнюю ночь? С рассветом они ушли докашивать траву на своей деляне, потом отец взялся укреплять подгнившую балку в сарае, заменял жерди в пригоне... Он торопился управиться со всем, что накопилось. Но, как это всегда бывает, в последний час несделанного набралось много.

Во второй половине дня собрались в их квартире соседи. Прихромал Калиткин — отец Проньки и Толика, пришли соседки, за ними хвостиками потянулись ребятишки. Заглянул и начальник станции — худой и длинный, как жердь. И дед Помиралка пришаркал. Следом за ним Слободкин с казармы. Он и в хорошие дни не много слов говорил, а тут только дымил самокруткой, как паровоз на подъеме, и повторял:

— Будь спокоен, солдат. Твоих не забудем, одни не останутся.

Мать позвала всех к столу, водку выставила. Выпили за победу, за возвращение отца. Потом за остающихся. Но веселья не получалось. Разговор сбивался на тяжелые бои у Дона и под Ленинградом. Потом, видно, вспомнив, что соседа могут как раз туда и послать, мужики виновато замолчали. Прижимая к себе детей, вздыхая, соседки поглядывали на Ленькину мать. Она держалась, но, отходя за печку, смахивала слезы концами наброшенного на плечи платка. А отец все пошучивал, посмеивался, пробовал даже запеть «Скакал казак через долину», но поддержки не получил, свел песню на разговор и, прижав Леньку, все наказывал ему помогать матери, слушаться и за младшим братом смотреть.

В тот день по станции уже дежурила Нинка-холостячка. Когда вышли к местному поезду, отец с улыбкой спросил у нее:

— Разрешишь напоследок проводить четный?

Девушка тоже улыбнулась, отдала отцу флажки и фуражку с красным верхом. Он надел фуражку, враз построжав лицом, и, когда скорый поезд приблизился к станции, поднял флажки, показывая машинисту, что все в порядке.

Состав громыхал мимо, вздымалась под вагонами пыль, колеса торопливо говорили на стыках «бежим-бежим», а отец стоял впереди всех, серьезный и строгий, каким всегда бывал на работе. И только здесь отчетливо, до холода в груди, понял Ленька, что с этой минуты со скоростью поезда уходила в прошлое былая их жизнь, а за невидимой чертой разлуки начиналась у отца жизнь солдата. Как не хотелось Леньке, чтобы отец уезжал! Но скоро пришел пригородный поезд, остановился всего на минутку, и потом, плача, Ленька бежал за вагоном и долго махал рукой что-то кричавшему и тоже машущему отцу.

С этого времени Ленькина жизнь стала скучнее и хуже. Хотя все, вроде бы, оставалось по-старому. Люди работали на линии, дежурили на станции, управлялись с хозяйством. В свой час приходил местный поезд с прицепленной сзади хлеборазвозкой. По гладкому желобу из нее спускали черные буханки. Поезд уходил, хлеб переносили в красный уголок, где хранились весы и гирьки, и развешивали по карточной норме. В платках и сумках люди разносили его по домам, где пайки еще раз делили — по едокам.

И, как раньше, проносились мимо скорые поезда. В них теперь ехало много военных. Они высовывались из тамбуров и окошек, и ветер иногда срывал с них головные уборы. Уже многие мальчишки с казармы и со станции ходили в наползающих на уши командирских фуражках, пилотках и бескозырках с надписями «Тихоокеанский флот», а то и «Торпедные катера ТОФ».

Без отца Чаловым стало трудно. По осени нужно было выкопать и перетаскать в подполье картошку, убрать все с огорода, сараюшку к зиме подправить. И сено у стайки уложить. С покоса его украсть могли — приезжали ночами лихие людишки с Узловой... Чтоб перевезти сено, пришлось просить помощи у Калиткина, у дяди Яши Слободкина. Но на соседей всегда рассчитывать нельзя, у каждого своих забот хватает, надо было самим управляться.

Одна радость у Леньки осталась — отцовские письма. Сначала они приходили из-под сибирского города Томска, где формировалась дивизия, потом — из-под Сталинграда. Там, писал отец, страшнейшая битва шла. И вдруг след отца потерялся. На дворе уж зима стоя-

ла. Тянули ветры-северяки, перегоняли снег в сугробы, прессовали их и полировали до блеска. Иногда линию заносило снегом. Вместе с путейцами выходили на околоток все, даже ребята. Расчищали путь, уберегали поезда от остановок. А когда ветры ослабли, — насели морозы. Редкую неделю не стучала в ночное окно рука мастера, бригадира или путевого обходчика. На встревоженное материно «Кто там?» из-за двери слышалось: «Выходи, Катерина, выходи! Рельса лопнула!» И мать, еще с осени поступившая в путевую бригаду, одевалась, с ворчанием или руганью уходила в ночь, в мороз.

Сильно изменилась мать за прошедшую зиму, особенно когда перестали приходить отцовские письма. Затвердела осенней веткой. То молчит неделями, то начинает шуметь и ссориться с соседками. И все реже, отогревшись у печки, собирая ужин, говорила со скупой улыбкой: «Вот Титушка, какой ты большой стал. Приедет наш папка — и не узнает тебя!» В такую минуту теплее и легче становилось у Леньки на душе. А когда мать ругалась, он грустил и стыдился.

— Ты на нее не серчай, — как-то сказал ему дед Помиралка. — Это ж она от горя такой стала. А кто, окромя хвашиста проклятого, виноват? Он, только он, саранча ненасытная! — Дед тогда покряхтел, подслеповато посмотрел на окна с толстыми наплывами льда, слабой рукой погладил Ленькино плечо. — Ничего... Немного уж морозу холодной рясой трясти. Вот и весна-красавица подступает. Солнышко-то, заметь, уже в нашем окошке всходить начинает. А с теплом полегчает все. Тут, гляди, Лень, и письмецо батькино прилетит...

Но вот и весна пришла, а писем все нет, и мать не меняется. Утром, собираясь с дружками в сопки, Ленька сунулся было к ней — отпроситься. Но услышал такие слова, что и идти сперва расхотелось.

«Может, сегодня будет письмо, — сворачивая к дому, подумал Ленька со слабой надеждой. — А если нет? Мамка опять кричать и ругаться станет. Причину она завсегда найдет. Солнце-то вон уже где, а я обещал сразу после обеда вернуться». Но тут он вспомнил о подарке матроса, которым надеялся смягчить и обрадовать мать, и зашагал бодрее и легче.

Мать он увидел сразу, как только вышел из-за угла дома. Выгнув худую спину, в накинутом ватнике и с

непокрытой головой, она чистила у крыльца чугун, в котором, бывало, при удачной охоте отца варилась картошка с козлятиной. Ветер трепал на матери юбку, сшитую из старой плащ-палатки, купленной в Узловой у инвалида.

Глянув на обветренные, подсиненные холодом лица ребят, мать напустилась на Леньку:

— Явился, не затерялся? А кого я за щепками посылала? Нет, ему нужно по сопкам шлындать... Теперь вот жрать просить станешь?

— Тетя Катя, теть! — заторопился на выручку Толик. — Он рыбу принес... Ба-альшую!

— Идите вы со своей рыбой! — отмахнулась мать, но все же посмотрела на сына: — Чего еще приволок?

Ленька торопливо выпростал из-за пазухи подарок и протянул матери. В ее глазах промелькнуло удивление. Склонившись, она осмотрела голову.

— Это ему матрос дал, — опять поспешил Толик. — Повар с эшелона...

— Гляди-ка, чистая! — проговорила мать, и Ленька уловил в ее голосе скрытую радость. Но она тут же нахмурилась и приказала: — Неси домой! Хвастать тут нечем...

Ленька ждал от матери похвалы. А после такой встречи сразу поник и, ссутулясь, шагнул на крыльцо.

Их квартира, по-воскресному прибранная, показалась ему и светлей, и просторней. Титок сидел на кровати и, непрерывно дудя, толкал по цветастому одеялу деревянные чурочки. Увидев брата, он сразу оставил свое занятие и спустился с кровати. Ленька отрезал ему зажаберный плавничок с лохматым шнурочком шкурки и прожилками мяса. Титок затолкал угощение в рот и принялся жевать, причмокивая и жмурясь от удовольствия.

Хлопнув дверью, вошла мать. Поставила на плиту чугун, громыхнула ведром с кусками угля и повернулась к Леньке, присевшему у стола.

— Чего расселся-то? Сколько я буду растапливать печь сырьем? Сухого ни щепочки нет. — Увидев чмокающего Титка, мать взглянула на рыбью голову и еще сильней расшумелась: — Уже? Растаскиваете? Не можете подождать? Или вы одни есть хотите?

— Да я и отрезал чуть-чуть, — обиженно прого-

ворил Ленька, доставая мешок для щепок. — Ее же не покупали. А если бы не дал тот матрос?..

— Если бы да кабы, то росли б во рту грибы, — не унималась мать. — Иди, иди давай. Разговорился...

Совсем расстроенный, вышел Ленька во двор. После домашнего тепла на улице показалось еще холоднее. Он запахнул пальтишко, нахлобучил на лоб шапку и, спустившись с крыльца, свернул за стену, под которой уже играли с другими ребятами Пронька и Толик.

Тут же, притулясь к высокой завалинке, стоял дед Помиралка. Был он в старой шубе, облезлой шапке, ватных штанах и галошах, из которых вылезали прихваченные у щиколотки шерстяные носки. Упираясь палочкой в землю, дед слезящимися глазами смотрел вдаль, на серые покосы, и приговаривал с радостью:

— Солнышка-то, солнышка сколько...

— Перезимовали, деда, — хмуро поддакнул Ленька. — А все еще холодно. Ветер вот дует и дует.

— Ну не скажи, Ленька. Дует, а уже не то. — Дед помолчал, отдыхая, и добавил задумчиво: — Кто не мерз, Лень, тот тепла не оценит. Тому и радости не разуметь, кто с лихом не обнимался... Мать-то чего шумела опять?

— Да-а... — замялся Ленька.

— Значит, от отца опять ничего нет, — негромко, со вздохом сказал дед и потыкал палочкой во влажную, парко́м дышащую землю. — Видишь, хоть на вершок всего, а оттаяла матушка. Ты не журись, Ленька. Он напишет. Не может такой мужик просто так пропасть. И скажу я тебе, живой он. Хто что ни говори, а живой. Я сердцем чую. А не пишет потому, видать, что в партизанах. Простое ж дело... Были где в наступлении, а тут фронт отодвинулся, вот они и остались в тылу. На войне такого сколь хошь получается. У нас в русско-японскую, думаешь, не бывало такого? Вот... Теперь они и лупят там хрица взашей. В тылу к нему поближе, а ближнего всегда ловчей ударять... Так что про плохое не думай. Иди-ка щепу собирай, зря мать лишний раз не расстраивай. Ей, Леньк, нашего во много раз тяжельше...

Прижимая мешок, Ленька направился к линии, неся обиду на мать. «Вот всегда она так, — высматривая щепки в траве под откосом, с горечью думал Ленька. —

Не узнает ничего, не разберется и начинает ругаться. Хоть с соседскими тетками, хоть с кем. А чего от ругани толку-то? Да и папка живой, раз дед Помиралка про то сердцем чует. Дед старый, он все знает. И получается, что зря мамка сердится на всех, зря...»

Такой же хмурый вернулся Ленька на станцию. Ребят и деда на дворе уже не было, видно, разошлись по домам отогреваться. Солнце закатывалось, и сразу похолодало.

Ленька высыпал щепки в кладовку и вошел в коридор. Он сразу почуял вкусный запах рыбного супа, разносившийся из их квартиры. Но Леньку не радовали ни суп, ни тепло. Он устало присел на краешек табуретки у стола, за которым мостился со своей чашечкой что-то лопотавший Титок.

— Принес? — глянув на Леньку, спросила мать.

— Принес. Почти полмешка...

Забрав у Титка посудину, мать налила в нее супу и поставила на окно, чтобы остудить. Из кухонного стола вынула несколько глубоких чашек. Протирая их, искоса взглянула на старшего:

— Как это он тебе ее дал?

— Да как... Крикнул «Эй, пехота, держи!» и кинул в руки...

— А что же не съели вы ее с Пронькой и Толиком? Вы ж всегда делитесь... Иль поругались?

Хмуро и быстро взглянув на мать, Ленька не ответил, еще ниже склонился к столу, колупая его дощатую крышку. Сгорбясь, он тут же ссунулся с табуретки и направился было в комнату, но мать остановила его. Налив чашку супа, она определила ее на краю стола и, беря другую, сказала:

— Снеси-ка вот дедушке Помиралке. Пускай свежиной побалуется старый.

Мать проговорила это легко, даже чуточку беззаботно. Еще сдерживаемый недоверием, широко открытыми глазами посмотрел Ленька в лицо матери — жесткое, грубоватое, со складками вокруг рта и морщинками у глаз, таких родных и близких. А она наливала в чашки дымящийся суп и говорила:

— Неси, неси... У них, может, и хлебушко есть. Да дружков своих позови. Вместе ходили, вместе и есть будете...

Поставив чашку на стол, удивленная молчанием сына, мать повернулась к нему. Увидев его лицо, встревожилась:

— Ты чего, Лень? Чего ты?

Но Ленькины глаза уже наполнялись слезами, а к откровенной нежности он не был приучен и потому, не зная, как теперь быть, уткнулся лицом в материнский подол. Хотел что-то сказать, но слова застряли в горле, и вместе со всхлипыванием вырывалось только невнятное: «Мамк... мамк...»

Тревога матери тут же прошла, она все поняла и, поглаживая Ленькину голову, проговорила успокаивающе, с легкой печалью:

— Вот дурной-то... Вот чего думал, батькина кровь...

У РОДНИКА

В самый полдень в доме Варнаков произошла потасовка. Под ее шум из сеней с дребезгом вылетели пустые ведра. За ними появился Петька. Ругаясь на старшего брата Амоса, он с неохотой подобрал ведра и отправился к колодцу. А на крыльцо выскочила ревущая Зинка. Хныча и обиженно ворча на того же Амоса, она пошла к сараю, у стены которого стояли грабли.

Все было ясно: Варначата собирались на покос, сгребать сено. Вскоре на дорожке появились все три работника с граблями на плечах. Впереди с бидоном холодной воды шагал двенадцатилетний Амос, за ним Петька в бескозырке, а замыкала шествие Зинка с узелком в руке.

Путь их тянулся до дальних покосов — они лежали у самой Телковой заимки. Из разъездовских жителей там никто не косил, хотя разнотравье росло хорошее, листовое. Такую траву любил косить отец Варначат — тихий, безропотный мужичок малого роста, не сильный, но жилистый и терпеливый. Бывало, уже и роса спадет,

и день жарой обливается, а он все машет и машет литовкой, неторопливо укладывая траву в рядки.

Но навалить травы — это еще не все. Ее надо просушить, сгрести в валки, а валки собрать в копны и уж потом сложить из копен стог. Работа тяжкая, кропотливая, многих рук требует. Но помощников отец и мать загоняли на покос с шумом и боем. И работали Варначата лениво, через силу. Зинка канючила, что через дырки в ботинках ей «ноги коляет». У Петьки от жары «ломалась» голова. А то всех разом жажда сушила. Если же случалось попасть в рядке на осиное гнездо или норку с дикими пчелами, — сгребальщики с дикими воплями разбегались, торопясь скрыться в кустах. Пока отец затаптывал пчел или убирал сено от «страшного» места, помощнички отлеживались в холодке, объедались полуспелой голубикой.

Трудным оказывался для них и путь до покоса. Да еще в такую нестерпимую жару, в сушь, какой даже дед Помиралка припомнить не мог. Все пересохло в то лето — падь, лиманы, озерца. Коров поили из колодцев, а к вечеру и в них вода кончалась. Какая ж работа в такую жару... А тут еще пауты, что «Мессершмитты», гудят беспрерывно и жалят до крови.

Шли Варначата на покос, как на каторгу. Не торопясь, почесываясь. Едва свернули на дорогу к заимке, Зинка захныкала:

— Амос, Амоська-а!

— Чего тебе? — не оборачиваясь, спросил брат.

— Давай водички попьем?

— Обойдешься! — отрезал Амос. — Работнички, язви их... Еще до покоса не доползла, а уже пить подавай...

Зинка примолкла, недовольно сопя. Петька смахнул со лба пот, циркнул слюной, продолжая жевать сорванную кислицу-траву. Петька вообще жевал все что попадалось. Варнаки не хуже других жили, но, не умея растягивать еду, чаще сидели без хлеба.

Дорога провела ребятишек через две мочажинки, раньше всегда сырые и чавкающие, а теперь сухие до гула. Перевалили они бугор, около которого их сосед Семушка потерял Красульку Слободкиных. Спустившись с бугра, оказались в глубоком и узком овражке, по дну которого обычно сочилась вода.

— Гля, и родник высох! — указал Петька на галечник. — Только мокрое место осталось... Во печет!

— Вода пробиваться не успевает, — авторитетно пояснил Амос. — Только поднимется, и тут же в пар...

— Амоська! — опять подала голос Зинка. — Давай отдохнем тута, а?..

Брат промолчал, но, перейдя через мокрое пятно, остановился на другом склоне овражка, под тенью высокого дуба. Поставил бидон под дерево и сел на траву, вздохнув по-взрослому озабоченно. Петька швырнул грабли на бугор, куда взбиралась дорога, и, растянувшись на траве, объявил:

— Перекур!

— Ага... Я вот мамке скажу, — неосторожно пообещала Зинка.

Но Петька был настроен миролюбиво:

— Мы же понарошке. Перекур — значит отдых. А покурить мы и без тебя могли бы.

— Не лежи, не лежи на земле! — затормошила Зинка брата. — Мамка сказывала, на сырой земле нельзя валяться, простыть можно...

— Ты, старуха сопливая, не жужжала бы, — отмахнулся Петька. — Сырая земля... С чего же ей быть сырой? Вот и родника, видишь, не стало.

Вертя вытащенную из кармана рогатку и несколько кругленьких, еще на линии подобранных камешков, Амос возразил брату:

— Это ты, Петька, сбрехнул. Земля все равно сырая. Если бы земля высохла, так и деревья, и кусты посохли бы. А вот не сохнут. Значит, находят воду в земле.

— И здесь вода есть, под нами? — спросила Зинка.

— А как же...

— Только ты рот пока не разевай, — посоветовал Петька сестре. — Мы ж не можем вытягивать воду, как деревья... Эх, вот бы трубу такую, чтоб вроде корня была! Воткнул ее где хочешь — и пей. Ни корове, ни домой тогда не надо было бы воду таскать. Не житуха — лафа!

Над ребятами плавилось голубое небо с редкими комочками белоснежных облаков. Зинка пощурилась на них и повернулась к Амосу, которому верила больше, чем Петьке:

— А вот чего там есть, за потемишними аж облаками? Боженька, — да, Амос?

— Там атмосфера, — объяснил тот. — А еще выше — стратосфера.

— А это кто? — попробовала уточнить Зинка.

— Балда — вот кто! — прекращая научные объяснения, отрубил Амос. — Ничего там нет.

— Зинка, а во-он на том облаке черт сидит, видишь? — сказал Петька, тыкая в небо рукой.

Зинка, надув губы, буркнула:

— Сам ты черт... Да еще рыжий!

— Поговори мне! — отозвался Петька, которому просто не хотелось подниматься, чтобы отвесить сестре оплеуху.

Легкое колебание воздуха и тихий трепет крыльев остановили начинавшуюся перебранку и ребята увидели дикого голубя, севшего на мокрое пятно в овраге. Он не заметил людей и чувствовал себя в безопасности. Посидев неподвижно и настороженно, голубь несколько раз качнул головкой, переступая розоватыми лапками, прошелся по влажному пятну, разглядывая его и опуская клюв к камешкам.

— Петушок-то, петушок! — зашептал Петька и глаза его загорелись охотничьим азартом.

Таких голубей Варначата добывали на линии, подстреливая их из допотопной, петровских времен одностволки. Промышлять их первым начал Амос, где-то вычитавший, что голубь, как перепелка или бекас, — самая настоящая барская еда. А теперь, по военному времени, она была еще лучше барской. Пища сама просилась в котел, и Петька поторопил брата:

— Рогатку давай, рогатку!

Амос молча оттолкнул Петькину руку, зажав кожанку с камнем, начал медленно поднимать рогатулину, чтобы выцелить птицу получше. Младшие затихли, ожидая, что вот сейчас натянутся две красные полоски резины, хлопнет отпущенная кожанка и камень с силой ударит по цели. И на ужин будет борщ, хотя из крапивы, но с мясом.

— Ну чего ты? — дернулся Петька. — Улетит же... Бей!

Но Амос вдруг опустил руку.

— Не улетит... Видишь — он пить хочет...

— Я тоже хочу, — шепнула Зинка, но ее никто не услышал.

В шесть глаз, но уже с другим интересом ребятишки наблюдали за птицей. Теперь они увидели, что голубь ходит как-то странно, с опущенными кончиками крыльев, и перья его не поблескивают как обычно. Клюв птицы раскрыт и, переступая лапками, она вроде сердится, не понимая, куда подевалась вода.

— Давайте ему водички нальем! — опять шепнула Зинка, забывшая, что сама просила пить.

— Это ж не курица! — возразил Петька. — Как ты будешь его поить? Может, домой за блюдечком сбегаешь?

— В песочек нальем...

Петька только головой покачал, каждой своей конопатиной выражая насмешку над такой глупостью. Но Амос тихонько сказал:

— А напоить его можно...

Сунув рогатку в карман, он потянулся к белому узелку и вытащил стеклянную банку с картофельными драниками, которые они несли отцу. Высыпав драники в платок, он тут же завязал его на два узла, оберегая себя и других от искушения отщипнуть по кусочку.

— Там, где мокрее, где сам родничок, выроем ямку, — объяснил он Петьке. Зинка в расчет не шла, как всегда при решении дел. — В ямку поставим банку. Вода будет в нее наливаться и уже не высохнет. Понял?

— Точно! — подхватился Петька, вспугнув голубя. — Я так у озера делал. Там сверху песок совсем сухой, а копнешь — сыро, копнешь еще глубже — и глядишь, вода собирается...

— Про то тебе и толкую...

Ребятишки спустились на дно овражка. Разгребая камешки и песок, стали искать самое влажное место. Теперь они вышли из тени, и солнце жгло их немилосердно. Но, не замечая палящего жара, склонив рыжие головы, Варначата торопились сделать доброе дело.

— Вот тут родник, — решительно проговорил Амос.

Петька с Зинкой посмотрели в его ямку, потом в свои и согласно закивали: в Амосовой ямке было сырее. Амос зачерпнул камешков и насыпал их в банку.

— Так она скорее наполнится, — пояснил он.

Сунув банку в песок, Амос аккуратно подогнал ее

горловину к краям ямки, по которым уже сочилась прохладная влага.

— Порядок! — закончив работу, сказал он, довольный.

— Пор-рядок! — заорал Петька, бросая вверх свою бескозырку. — Пусть прилетают!

Зинка посчитала момент удобным, чтобы напомнить о себе.

— А давайте ливнем в банку воды из бидона, — предложила она, вытирая с курносинки пот. — И я немного пивну... Ну, чуть-чуточку, а, Амос?

— У-у, помощница...

Шагнув наверх, Амос выхватил из тени бидон и, открыв крышку, дал сестре напиться. Потом осторожно наполнил банку.

— Вода воду потянет, — проговорил он, усмехаясь.

Опять схоронившись в кустах, ребятишки затихли, желая скорее увидеть результат своего труда. Сидели молча, затаив дыхание. Только Петька, глянув на солнце, заметил:

— Батька с косьем встречать будет. Опять скажет, что нас за смертью хорошо посылать...

— Не гунди, — буркнул Амос. — Смотри вон!

У родничка уже сидел юркий трудяга поползень. Попрыгав на кучке песка, он повертел приплюснутой головой с крепким клювом и прыгнул на край банки. Ребятишки видели, как птаха жадно припала к блестевшему пятну воды, а потом плюхнулась в нее и заторможилась, взбивая брызги.

— Вот гад! — прошептал Петька. — Напился, а потом купаться залез... А другим чо?

Но поползень уже опять выпрыгнул на кучку и с торжеством просвистел: «Цвить-я, цвить-я!». Варначатам в его бесхитростном пении слышалось утверждающее и зовущее: «Пить здесь, пить есть!».

И, словно откликаясь на этот зов, из кустов выпорхнул малюсенький королек, потом появились жаворонок и ярко раскрашенная птичка с желтым брюшком. Суматошась, они припадали к воде, пили и, отходя, начинали прихорашиваться.

После других прилетел и голубь. Он опасливо огляделся, покачивая головкой, подобрался к банке и, не обращая внимания на мелюзгу, начал пить. Напившись,

тоже отошел в сторонку, встряхнулся, распушив перья, и проворковал, может, подзывая голубку.

Шесть серых глаз с восторгом смотрели на птиц, радуясь своей смекалке и делу проворных рук.

Чуть погодя Амос заворочался, негромко сказал:

— Пошли... Сено само сгребаться не будет.

Поднявшись, три работника скрылись за гребнем косогора. А внизу, за их спинами, сверкала, отражая солнышко, собранная в банку вода.

ЖАРКИЙ ДЕНЬ

Июль — безветренный, сухой, знойный...

Солнце печет так, что утром скошенную траву после обеда уже собирают в валки и укладывают в копны. Над железной дорогой переливается дрожащее марево, а воздух густеет от запахов мазута, горячего балласта и шпальной пропитки.

Жара целыми днями держит ребятню полустанка и деревни на озере. До самого заката с воды доносятся крики, смех, всплески...

На утоптанном травяном берегу, в сторонке от купающихся, животами вниз лежат неразлучные Цезарь и Матвей из деревни. Одному уже семь лет, другому — десять. Оба загорели до черноты, оба с облупленными носами.

Ребятишки лежат голова к голове, задумчиво покусывая травинки и вяло переговариваясь. Вот Цезарь увидел среди разъездовских купальщиков белобрысого мальчишку и сообщает другу:

— А на станцию тетка-новоселка приехала...

— Знаю, — отзывается Матвей.

— Знавала...

— Вот и знаю! Она с запада приехала, где немцы сейчас. А тут будет дежурить по станции.

— А с кем она приехала, знаешь?

— Две девчонки с ней и мальчишка. Да он, вроде, здесь со всеми купается.

Цезарь обескуражен осведомленностью друга.

— Зато их фамилию не знаешь, — помолчав, говорит он.

— А зачем она мне?

— То-то, — оживляется младший. — А фамилия их — Чердымовы, вот! Эта тетка записывала своих гавриков в школу, я и слышал, как она Нине Васильевне говорила...

Не отрывая подбородка от сложенных кулаков, Матвей покосился на довольного Цезаря, но промолчал.

И опять мальчуганы лежат тихо, спинами и пятками чувствуя жар солнечных лучей. Но Цезарь не может долго лежать просто так. Сморщив нос, он щурится в дальний конец озера, на широкое зеркало воды и, не отрывая взгляда, резко опускает голову к траве. Полежав так, опять поднимается, смотрит и снова резко опускается, улыбаясь. Матвей смотрит на него.

— Ты чего?

— А небо в озеро падает.

— Как... падает?

— Смотри. — Цезарь опять опускает мордашку, морща лоб, целится взглядом вдаль. — Если вот так глядеть, небо совсем близко становится, и там вон, в конце, в воду падает. Теперь и облако из озера выпирается... Как копна из покоса.

— Ну?

Цезарь поднял голову и лицо его посветлело.

— А вот так смотреть, все не так получается. Вода уже не сходится с небом. Теперь оно аж за тем берегом, далеко...

Матвей тоже смотрит на озеро. Но он лежит лицом к его ближнему концу, и в воде с этой стороны торчат головы ребятишек. Тут взбиваются фонтаны брызг и вообще вода неспокойна. Матвей опускает голову, нехотя говорит:

— Это только обман зрения...

— Знавала-задавала... — Цезарю хочется расшевелить друга. — Обма-ан... А скажи, куда туманы деваются?

— Какие туманы? — не понимает Матвей.

— Наши, какие.:. Вот вечером над озером, над всей Безымянкой туман собирается. Густой, белый, как молоко. А утром встанешь — его не видать...

— Пораньше вставать надо, — усмехается Матвей. — А то храпишь, пока бабка с кровати не стащит.

— Вста-авать... — тянет Цезарь с обидой. — Скажи, сам не знаешь...

— Я-то знаю. — Матвей некоторое время молчит, разжигая нетерпение Цезаря. — Туман вверх уходит и становится облаками.

Цезарь смотрит на Матвея, на небо, по которому высоко и вольно передвигаются большие белые облака. Они толсты, взбиты клубами, отчего кажутся тяжелыми, крепкими.

— Не-ет, Матюш, — сомневается Цезарь. — Туман толстым таким не бывает. Ты придумал, что он поднимается?

— Ничего я не придумывал. Про это даже примета есть. Если туман вверх пошел, значит погода будет хорошая, а если на землю ляжет — польет дождь. Нам про туман и Нина Васильевна рассказывала.

— Че же она рассказывала? Ты сам посмотрел бы. Вот вечером туман далеко-далеко над падью тянется, ровненько... А наверху что? Кто же его в такие кучи сгребает?

— Хто-хто... Дед Пихто, — отбивается Матвей. — Он сам, когда поднимается, на куски рвется.

Младший слушает, все еще разглядывая облака, и в их очертаниях видит драконов, сказочные замки, дворцы... Смотрит пристально, будто ждет, не покажется ли из-за темноватой кромки облака чья-нибудь голова.

— А по ним ходить можно? — тихо спрашивает он.

— Залезь да и ходи, — советует Матвей.

Цезарь морщится, опускает голову с выгоревшими волосами и сосредоточенно рассматривает белые корни травинок. Потом с тем же скучным выражением смотрит на ребятишек, которые купаются, загорают.

— Глянь-ка, Матюш, — говорит он. — Петька Варнак глиной под индейца разрисовался.

— Ему только в индейцах и ходить, — не поднимая головы, глубокомысленно замечает Матвей.

— А давай в старые сады за малиной?

— Что ли сейчас?

Цезарь и сам понимает, что в такую жару умные люди не шарашатся по старым садам, хотя в них полно черемухи и малины. Тут, на берегу, и вода рядом, и ветерок хоть чуть-чуть продувает, а вот хоть снова ныряй. Жарко... А там, среди высокой полыни да густоты запущенных садов, духота нестерпимая. Пока котелок ягод наберешь — весь изопреешь. Но ведь сегодня у них с Матвеем весь день свободный. Ни телят не надо пасти, ни с сестренками нянчиться. Редкий случай! Так что же, весь день только и загорать?

Цезарь садится, вытягивает ноги. Тут он замечает бегущую от озера дворняжку Дамку со станции. Провожая ее взглядом, спрашивает:

— Матюш, а собаки как думают?

— Никак... У них инстинкт.

— Это кто?

— Не кто, а что... Привычка, значит. Вот приучат собаку сидеть, уток из воды вытаскивать, лежать, коз находить. Она это и делает. Знает, что хозяин за такую работу хвалить ее будет...

Словно устав от длинного объяснения, Матвей закрыл глаза. Цезарь смотрит на его спину, берет травинку и проводит ею по коже. Матвей, не открывая глаз, обещает:

— По шее получишь!

Цезарь отбрасывает травинку, вытянувшись, поглядывает на покос деда Орлова и уже далеко опять видит Дамку, убегающую по тропинке к линии.

— Нет, Матюш, собаки думают, — твердо говорит он, надеясь задеть приятеля. — Инстинкт твой тут ни при чем. Вот никто же не говорил Дамке, чтоб она на озеро прибегала, чтоб опять домой торопилась.

— Х-ха, — хмыкает Матвей. — Искупалась вот — побежала назад...

— А кто, кто ее купаться заставил? — подхватывает обрадованный Цезарь.

— Жара заставила.

— Это, Матвей, тебе жара. А разве Дамка понимает, что это жара?

— Не понимает, так чувствует.

— Так ей же никто не командовал, чтобы она вот... Чтоб окунуться сбегала? Не командовал же, правда? А она взяла и пришла к озеру. Искупалась и домой побежала! И смотри, не напрямую через покос, а по дорожке бежит, как мы с тобой бегаем!

— И что тут такого? — не понимает Матвей.

— Так кто ей сказал, чтобы она по дорожке ходила? Наша бабка говорит, что не думают только дураки. А Дамка же не дурная? Вот и выходит, что она думает. И не бегает прямо по скошенному, знает, что там ей лапы будет колоть...

— Она этого не знает.

— Почему тогда по дорожке бежит?

Матвей тоже задумывается. Почему, в самом деле, собака бежит по дорожке, как люди? Ведь не чешет напрямую через огород деда Орлова. И как она узнает, что в воде ей будет лучше, прохладней?.. А Цезарь наседает:

— Почему Дамка по дорожке бежит?

— Потому, — нехотя отзывается Матвей, — что зануда ты...

Но Цезаря это нисколько не трогает. Он даже доволен, что Матвей не все может объяснить.

— Нет, Матюш, они все же думают. Я вот тебе счас расскажу, как я споткнулся...

— Ты на дню десять раз спотыкаешься.

— То я просто так спотыкаюся, а то с нашим Жуком было... Бежал я с ним повдоль заплота, а там корень торчал. Вот я за него и запнулся. А Жук увидел, что я чуть не упал, насторожился сразу, голову поднял и давай по сторонам глазами-то шарить. Порычал даже. А потом понял, что это я сам споткнулся, что никто меня не толкал, — успокоился враз. Даже сказал мне, что, мол, понятно, это ты, Цезарь, просто так тут споткнулся...

Матвей вскинул голову.

— Сказал?

— Ну, это по-своему сказал... Он уши опустил, а глазами вроде как улыбнулся и хвостом повилял. Мол, понимаем, а в другой раз под ноги смотри...

Матвей хмыкнул, опять опустил голову на руки.

— Выдумщик ты... Брехун!

— И ничего не брехун, — заупорствовал Цезарь. — Не-ет, Матюш, они все же думают. Знаешь, какой Жук у нас умный!

— Ага, — согласился Матвей. — У Проновых, вон, цыпленка умер.

— Так это он вгорячах... Эти цыплята в наш огород больно повадились. А Жук понимает, что это наш огород, отгоняет чужих. Он и тогда, как цыпленка стащил, до вечера на дворе не показывался.

— Чтоб не лупили.

— Во-во... А кто ж ему сказал, что это он чужого цыпленка схватил? Разве он знал про это? Знал, что его лупить будут? — Не дождавшись ответа, Цезарь продолжает свою мысль: — То-то и оно, что он думает... Вот скажи, почему он сам, когда видит, что теленок от стада отошел, бежит и назад его заворачивает, почему?

— Думает, что ты ему кусок мяса дашь.

— Мяса? — изумляется Цезарь. — Откуда оно у нас? А за физкультуру он, что ли, тоже мяса ждет?

— Какую еще физкультуру?

— А вот Жук утром как встанет — прыгает да кувыркается, хвост свой ловит. Прямо, как юла, вертится.

— Физзарядку, что ль, делает?

— Ага! Ему же бегать целый день надо, а если лежать — так и ноги перестанут ходить. Вот он и готовится. А про это кто ему говорил? Никто. Значит, сам он додумался!

Матвей совсем сбит с толку. Шут его знает, может, и вправду собаки думать умеют? Есть же в них что-то понятливое... «Надо у Нины Васильевны расспросить», — решает он. Но сейчас, не желая сдаваться, пробует перевести разговор в шутку:

— Ты, Цезарь, своему Жуку за такое поведение еще одного цыпленка подсунь.

Но Цезаря этим не зацепить. Он считает себя победителем.

— И ничего-то ты, Матюша, не знаешь. Потому и ерунду говоришь...

Усмехнувшись, Матвей переворачивается на спину, поджимает колени и, рывком выбросив ноги, резко встает. Посмотрев на берег с играющей малышней, мельком взглядывает на солнце, замечает:

— Часа четыре уже... Еще раза два окунемся — и домой надо. Пошли, Цезарь!

Но тот сидит, не шевелясь... Опустив голову, внимательно следит за муравьем, который суетится среди травинок с крохотным кусочком соломинки. Муравьишка тычется в корни, возвращается, отыскивая проход, и упорно пробивается в одну сторону — к своей куче, торчащей шагах в десяти от ребят на выкошенном месте.

Матвей стоит уже у воды.

— Ну, пошли купаться, Цезарь! Или опять обо что споткнулся?

Невидящим взглядом Цезарь смотрит на Матвея, потом опять опускает глаза на трудягу-муравья. Сорвав листок, подставляет его муравью, и когда тот забирается на гладкую зелень вместе с соломинкой, Цезарь вскакивает и несет муравьишку к его куче. Положив лист около муравейника, вспрыгивает, дурашливо кричит: «Споткнулся — окунулся!» и, раскинув руки, бежит к воде. Не останавливаясь, с разбегу ныряет, взбив фонтан брызг. Матвей бросается следом, стараясь поймать друга за пятку. Над озером вскрики, смех, всплески.

Июль... Жара несусветная.

ВЕЧЕРОМ, ПОД ПРАЗДНИК

В этот день с утра потеплело, наползли тучи, и после обеда в мягком безветрии пошел первый снег. Большие снежинки плавно опускались на землю, на крыши домов деревни и полустанка, на стога сена, делая их похожими на головки сахара. Все вокруг подновилось, стало светлее и чище, а снег падал и падал, радуя ребятню, с нетерпением ждущую последнего звонка.

Едва он раздался, школьный двор наполнился шумом. Набрасывая на себя телогрейки, шубенки, куртки из старых шинелей, в пилотках и шапках ребятишки выбегали во двор, белый и незатоптанный. Спускаясь с пригорка, на котором стояла школа, они разделялись на два табунка. Один сворачивал в деревенскую улицу, а другой скатывался под косогор на дорогу, ведущую к разъезду.

Дойдя до пади с кочками и кустарником, Петька Варнаков натянул до ушей бескозырку, предложил:

— Ребя, айда-ка в войну? Снежками-то, как гранатами, можно!

Девчонки опасливо заторопились дальше. Вслед им полетело несколько снежков, но тут же, делясь на два лагеря, мальчишки гурьбой окружили Петьку. И только Шурка Орлов — коренастый, крепенький, как гриб-боровик, — продолжал шагать по чистому и влажному снегу.

— Ты че, Шурк? — удивился Петька. — Не будешь?

Шурка остановился было, но упрямо крутнул головой:

— Не, мне домой надо... У нас дедушка с утра нонче хворый.

И пошел дальше, придерживая висящую на плече противогазную сумку с книжками. Торопился Шурка не зря. Дома была одна бабка, а деда на поезде отвезли в Узловую, в больницу. Шурка остался единственным мужиком в доме и главным работником по хозяйству.

Когда круглый бок солнца приблизился к линии горизонта, Шурка начал управляться с делами. Снег к тому времени перестал падать, небо очистилось, и в закатной стороне разливалась багряная полоса. Закат обещал мороз и ветер, сумерки густели по-осеннему быстро, и нужно было поторапливаться.

Для начала Шурка провел след по дорожке за линию, к колодцу с бездонным срубом, под кособокой крышей на двух столбах. Два ведра воды он принес в дом, а два Белянке — низенькой, пузатой и комолой коровенке. Напоив корову и подложив в ясли объедьев, вычистил стайку, принес от стожка два навильника свежего сена — Белянке на ночь. Потом загнал в клетушку четырех бестолковых куриц и трусоватого петушка, за делами утаптывая снег тяжелыми, на три портянки обутыми, но все равно спадавшими с ног мужскими сапогами.

Шурка уже колол дрова, когда из дома вышла бабка с подойником на руке. Мелкими шагами полузрячего человека она прошла к стайке, и скоро оттуда послышались напевы тугих нитей молока, ударяющих в дно ведра. Эти звуки напомнили Шурке об ужине, и он стал работать с пущей старательностью. К бабкиному возвращению успел перетаскать дрова в избу, затопил печь, а на косяке окна повесил зажженную семилинейную лампу..

За ужином бабка дала Шурке стакан молока. Себе

и того меньше плеснула, только чай забелить. Остальное слила в бидон — снести в колхоз в счет налога. Бережливо прибрала несъеденные картофелины и горстку капусты, а редкие крошки смахнула в Белянкино пойло.

Еще крепкая на ноги, с руками, и в старости не отвыкшими от тяжелой работы, бабка мучилась глазами: плохо видела из-за перенесенной когда-то болезни. Почти всю работу делала она ощупью, не ошибаясь лишь по привычке. Сначала прикрыла трубу, потом плотнее прихлопнула отходившую дверь и бросила у порога старую телогрейку. Закрываясь от ветра и холода, она на целую ночь отделяла себя и внука от мира, зная, что с плохой вестью соседи до утра спешить не станут, а с хорошей и в окно постучать можно.

Неторопливо и привычно бабка сняла с гвоздика чистую тряпку, держа руку по краю стола, протерла клеенку, вздохнула и проговорила, глядя на Шурку:

— Теперь вот садись... Сегодня Климу напишем, а завтра письмецо и отправим.

Шурка снял лампу с косяка, поставил ее на стол. Из темной комнаты принес школьную сумку, достал из нее пузырек с чернилами и тетрадку — согнутые пополам и сшитые нитками листы серой бумаги. Раньше у него и такой не было. Как и все, писал он в тетрадках из старых газет. А бумагу принес в школу продавец дед Колотилкин. Она осталась в магазине со старых, довоенных времен. В нее бывало заворачивали покупки. Но дед рассудил, что селедку, если ее привезут, бабы и в руках разнести могут, а ребятишкам бумага в самый раз придется. Обрадованная учительница разделила подарок деда на всех, бумагу порезали, сшили, разлиновали, и получились хорошие тетрадки.

Пока Шурка собирался, бабка достала из сундука мешочек с отходами пшеницы и выдвинула к печке мельницу, сделанную дедом из толстого березового чурбака. Летом дед долго сушил этот чурбак под навесом, потом вместе с Шуркой ровно распилил его пополам и в свежие торцы вбил множество кусочков железа. Поставив половинки одна на другую, дед проворачивал верхнюю и крутил до тех пор, пока железки не сгладились и не заблестели. После этого в середине одной чурки дед выдолбил дырку и с края приделал ручку. Получился верхний жернов мельницы, или, как называл ее дед,

крупорушки. А нижний чурбак он оббил выступавшей над краем жестью, оставив узкую щелку с приделанным под ней желобком. Закончив работу, дед насыпал в дырку горсть кукурузы, покрутил жернов за ручку, и по желобку потекла желтоватая струйка почти настоящей муки.

Такие мельницы-крупорушки делали и в деревне, и на разъезде, — чтобы не бегать по соседям, не таскаться с тяжестью, когда в доме появятся отходы овса или пшеницы, соя или кукурузные зерна...

Бабка села на низенькую скамеечку с растопыренными, как у теленка, ножками, сыпанула в дыру горсть отходов, поправила на голове платок, спрятав под него седую прядку, и, сердясь, спросила молчавшего внука:

— Ты готов, нет ли? Чего копаешься?

— И не копаюсь я вовсе, — неторопливо поскребывая перышко ножом, отозвался Шурка. Он хорошо знал, что вечерами бабка совсем плохо видит, а читать и писать она не умеет вовсе. — Говори, чего писать-то... Поди, опять с приветов начнешь?

— Ну, а как же? — удивилась бабка, всегда робевшая перед ученостью внука. — Люди же со здоровканья день начинают...

Но Шурка и без объяснений знал, с чего начнется письмо, и в верхнем углу листа вывел: «Писано 6 ноября 1943 года». А бабка, проворачивая жернов, уже диктовала, немного растягивая слова:

— Здравствуй, дорогой наш сынок Климентий. Низко кланяемся тебе и шлем привет — тятя и мама, племянник твой Шурка...

Поскрипывая пером, Шурка спешил за бабкиными словами, пропустив привет от племянника. Буквы у него получались еще не так быстро, перо зацеплялось о шероховатинки на бумаге, к тому же о себе он всегда упоминал в конце: «Писано вашим дорогим племянником Шуркой». Писал он это всякий раз, хотя над такими словами дядьки в ответных письмах подшучивали. «А пущай смеются, — думал Шурка. — Сами же вот и пишут: «Здравствуй, дорогой наш племянник Шурка». Им чего... Смеяться им не впервой».

И в Шуркиной памяти, по-детски цепкой, оживали картины жизни в старом доме с дедом, бабкой и тремя их сыновьями. Молодые и смешливые, они все уезжали

и уходили по своим делам, а потом опять собирались вместе, принося с собой запахи мороза и вольного ветра, а заодно игрушки, конфеты и пакеты с печеньем. Сладости они, по молодости, вместе с Шуркой же и съедали, уча его заталкивать в рот целые печенюшки. И лучше всех это как раз у дяди Клима получалось.

Привыкнув к дядькам, Шурка без них потихоньку скучал. Тогда вспоминалось ему только грустное.

...Их двор около большого дома на улице районного центра — в Узловой. Снег выожит, по-вечернему холодно, а со двора выезжают сани, запряженные парой коней. В передке дедушка с дядькой Федором — своим старшим сыном, — а за ними гроб с Шуркиной матерью. Ее увозили, чтобы похоронить на деревенском кладбище, рядом с родным домом. Шурка с бабушкой ехали отдельно — в переполненном вагоне поезда. К их приезду гроб уже стоял на столе, вокруг горели свечи. Хмурые, насупленные дядьки обступили Шурку, молча раздели, раскутали. Дядя Федор погладил его по голове: «Ничего, Шурка... Проживем!»

С того времени и остался Шурка в приземистом, самим дедом ставленном доме, вместе с дядьками — сильными и здоровыми. Под дверным косяком каждому приходилось нагибаться. Но выше всех был дядя Клим. «Средненький», говорила бабка. Тогда он уже на паровозе кочегаром работал. Бывало, как едет в Узловую, в депо, — не раз гуднет. Мол, заводите блины, скоро дома буду.

Дядька Клим был и озороватее всех. Не то что Федор. Тот хотя и старший, а от рождения тихий. Может, потому и пошел на колхозную конюшню, к лошадям, чем крепко рассердил деда. Дед-то хотел, чтобы сыны по его линии, в железнодорожники шли. И самому младшему — дяде Виктору, который десятилетку кончал, он все советовал подаваться в машинисты или путевые мастера.

Про Виктора говорили, что он в дедову кость пошел — коренастый, широкоплечий, смуглый, за что его «гураном» дразнили. А еще — «академиком»: читал он больше всех и все мудрил над разными штуковинами. Шурке то пистолет самовзводный смастерит, то самолет с гудящим пропеллером. А в одно лето, еще до войны, такое придумал, что все ахнули. Сделал дядька па-

роход. Как настоящий, — с мачтами, каютами, трубой и топкой. В топке зажигался фитилек, и тогда из трубы шел дым, колеса начинали крутиться, загребая воду, и пароход плыл по озеру против волны и ветра.

Смотреть на первый пуск собрались все Орловы. Клим, в аккурат, был свободен от поездки, а Федор пригнал коней — напоить. Смотрели они, смотрели — надоело. Сами попрыгали в воду и такую возню устроили, что пароход едва не утопили. И Шурку, как кутенка, тоже на глубину закинули — плавать учили. Он и теперь вздрагивал, вспоминая, как от страха колотил по воде руками и ногами, взбивая брызги и гребя к берегу.

...— А еще сообчаю тебе, дорогой сынок, — крутя жернов, продолжала бабка, — что младший брат твой Виктор по морю плавает, где много льда. Но они под лед-то ныряют и потом топят германские пароходы...

— И не пароходы, а корабли, — поправил Шурка, довольный таким упоминанием о дядьке, недавно приславшем фотокарточку. Был он снят в морской командирской форме, в фуражке и с биноклем, а за его спиной виднелись подводная лодка и широкое море.

— Прописывал он, что паек им дают хороший, — продолжала бабка, не обратив внимания на поправку, — и чтобы мы об ем шибко не беспокоились... А еще тебе шлют поклон Варнаковы Поликарп Емельянович и Серафима Петровна да еще Чалова Катерина со станции. От мужика ее письма так и нет...

Бабка всегда диктовала без разбора, что вспоминала. Особенно много наговаривала она приветов, но Шурка наловчился обходить их. Слушая бабкин рассказ про жизнь соседей, он и теперь задержал руку и, повернув коротко стриженную голову, затих, наблюдая, как бережно бабка засыпает в крупорушку новую горсть отходов.

Жидкая струйка напомнила Шурке о недавнем приходе колхозного председателя Фрола Чеботарова. Шурка тогда еще подивился, как это Фрол с одной рукой и ногой на култышке донес до их дома большое цинковое ведро. Видно было, что председатель упарился. В распахнутой телогрейке и солдатской, откинутой на затылок шапке с щербатой жестяной звездочкой долго сидел он на лавке, выставив деревяшку и смахивая со

лба пот. Помолчал, потом проговорил, будто стыдясь:

— Озадки вот к празднику вам приволок. В амбарах-то одни семена остались, и те считанные...

Хотел председатель еще что-то сказать, да запнулся и попросил деда свернуть ему самокрутку. Они закурили и стали говорить о скорой зиме, о дровах для школы, о сене и слабом тягле... А как войны коснулись, председатель опять замолчал, глядя в угол, и только уходя махнул рукой с мокрым платком в кулаке:

— Побьем его, старики... Побьем, гада ползучего! Гнулись мы, да не сломались, а теперь распрямляться начали. Не сегодня-завтра Киев опять нашим будет! Побьем его, падлу, помяните мое слово!

С тем и ушел тогда председатель.

Задумавшийся Шурка, уловив в бабкином рассказе короткую паузу, неосторожно спросил:

— Баб, а ты лепешки с утра печь станешь?

— Да ты чего не пишешь, окаянный! — рассердилась бабка. — Я ему говорю, говорю, а он сидит, про лепешки думает. Потом, гляди, спать захочет... Когда же письмо кончим?

Шурка сглотнул слюну и торопливо стал писать. Но и теперь не перестал думать о лепешке. Он просто не мог не думать о ней. И о хлебе — белом, с дырочками в податливом мякише и хрустящей на зубах корочкой.

Последний раз такой хлеб Шурка видел перед самой войной, когда за ним отец приезжал. Широкоплечий, с выправшим животом, он выложил на стол белый хлеб, колбасу, конфеты, водку поставил. Располосовал буханку ножом, и Шурка потянулся к куску, но, перехватив прищуренный взгляд дяди Клима, отдернул руку. И только тогда увидел, что ни дядьки, ни дед с бабкой не придвинулись к столу, остались на своих местах — затаенно-молчаливые, какими были у гроба Шуркиной матери. Оробев, Шурка тихонько отошел от стола, потом и вовсе убежал в сад, а следом за ним дядьки вышли.

— Дурачок-дуралей! — несердито сказал ему Федор. — Он же приманивает тебя гостинцами. А увезет — и бросит, как мамку твою бросил. Вот вместе нам и черт не страшен. Соображаешь?

Шурка тогда еще не понимал, как это можно «бросить» его или мать, на могилке которой бабушка весной

раздавала крашеные яички и рисовую кашу с конфетками.

Но ехать отказался наотрез и вместе с дядьками молча, насупленным взглядом проводил отца, широкими шагами уходящего к станции. Отец с тех пор как в воду канул, и никто о нем не жалел.

А вот когда уезжали дядьки, Шурке было горько до слез. Уезжали они в воинском эшелоне из Узловой, и все в один день. Провожая их, бабка плакала, дед хмурился и покашливал. А дядьки смеялись, пошучивали с отправлявшимся тем же эшелоном Фролом Чеботаровым — бригадиром трактористов из деревни. Тот был выпивши, пел под гармошку песни и все жену свою по плечу гладил. Потом подцепился к составу паровоз и увез Шуркиных дядек на фронт. Перрон опустел, нагоняя безлюдьем тоску.

С того лета бабушка и перестала топить русскую печь, где выпекала калачи, разные кренделя и хлеб. Получался он чуть кисловатый, но очень вкусный. И всегда его было много. А теперь на карточку деда-пенсионера им дают на два дня чуть меньше буханки, похожей на кирпич. Бабка хлеб прячет и делит его перед едой. Деду и себе кладет поровну, а Шурке всегда чуток больше. И лишь на праздники она мелет кукурузу или озадки, печет лепешки — без ничего, прямо на плите. Получаются они малость подгорелыми, пахнут дымом, но все равно вкусные.

— ...Тяжелей нам теперь без Пушкаря жить, — продолжала бабка. — Но на две головы скота уж больно большой налог. Спасибо, что молодой инспектор присоветовал сдать быка на мясопоставку. Вот мы старый-то долг и покрыли... Все бы ничего, да тут Белянка молоко убавила, а с чего и не знаю, сынок...

Бабка замолчала, нагнувшись, пощупала горушку муки под желобком. Подняла чашку с пола и ссыпала муку на железный лист. Смахнула с ладоней пыльцу и, опять садясь на скамеечку, проговорила:

— Еще столько же намелю, и нам хватит.

— Давай, баб, про что дальше писать, — поторопил ее Шурка. — А то я уже от себя начну.

— Торопишься-то чего? — нахмурилась бабка. — Завтра целую лепешку получишь. А пока пиши что говорят.

— Чего бы! — обиделся Шурка. — Я что, за лепешку пишу?..

В темной половине дома высветились крестовины рам, по стене и по потолку поползли узорчатые тени от растущих в саду деревьев. Их высвечивал луч паровозного прожектора: по линии на запад шел поезд. Язычок пламени за ламповым стеклом начал мелко вздрагивать, в избу через стены доносился грохот тяжелого состава.

Дожидаясь, когда поезд пройдет, сердитый Шурка отложил ручку и уставился в темное окно, за которым ничего не мог разглядеть. «Лепешку, говорит, дам... Вот бабушка!» — вертя головой, думал он, не понимая, как можно такое сказать. Пишет же он не кому-нибудь, а дядьке Климу. Тот хотя и задирал, бывало, Шурку и щелбанов отваливал за дразнилки невестами, а был веселей других. Бывало, затеет игру в карусель. Сложит руки на голове, сцепит пальцы, присядет, и Шурка, а с ним приятели — Семушка, Варначата или Лецька со станции — подцепляются, обхватывая бугры дядькиных мускулов. Выпрямится дядька в рост и медленно начинает крутиться на одном месте, а потом все быстрей, быстрей — и тогда только держись. Смешаются в глазах земля, небо, не выдержит, замрет сердце, расцепятся пальцы, и летят ребятишки кубарем по мягкой луговине. А уж когда дядьки между собою борьбу затеют — близко не подходи. Земля ошметьями кверху летит. Дед, видя такое, ворчал, пряча в бороде усмешку: «Повырастали, поганые... Рельсы гнут, а ума — с горошину...» Но Шурка-то видел, что дед совсем не сердится, а наоборот, доволен, что такие большие, веселые у него сыновья.

Вспомнив былое, Шурка вздохнул. Показалась ему очень давней эта его жизнь с дядьками. За лето перед войной он только в школу готовился. Дядя Виктор ему книги купил, Федор привез пенал, а Клим — цветных карандашей и коробку красок... Теперь Шурка уже третий класс осиливает, десятый год ему миновал. Многое переменилось за это время. Нету уж в их стайке добродушного быка Пушкаря, нет парохода с трубой и каютами. И дядьки Федора нет...

Весной почтальонка Варька в их дом принесла письмо. Не треугольничком, как всегда, а в сером кон-

верте. Дед распечатал, подал Шурке листок. Шурка сразу узнал дядькину руку, но подивился, почему это дядька Федор отправил письмо надорванным и запачканным чем-то бурым.

— «Дорогие тятя и мама, племянник дорогой Шура! — начал Шурка читать вслух. — Сегодня у нас шумно, и буквы получаются плохо, а я тороплюсь, чтобы успеть послать весточку и вас успокоить. Сообщаю, что я жив и здоров, чего и вам всем желаю. Знаю, что вы, мама, все плачете и за нас молитесь. Но я уже писал, что в бои не хожу, служу при штабе и работа у меня неопасная...»

На этом-то месте письмо обрывалось и было залито так, что Шурка не смог разобрать ни слова. Пока он старался, дед нашел в конверте еще листок и протянул внуку. Написано письмо было от руки, но разборчиво.

— «Здравствуйте, дорогие отец и мать! — бойко начал Шурка. — Горько писать эти строки, посылать вам печальную весть с неотправленным письмом нашего боевого товарища, но вы должны знать правду. Ваш сын Федор Орлов был лучшим разведчиком артиллерийского полка и погиб при корректировке огня батарей у местечка...»

Страшная весть еще не дошла до Шуркиного сознания, а бабка уже зашлась криком. Тогда и Шурка не выдержал — заревел. Дед отпаивал их водой, гладил тяжелой рукой Шуркину голову и говорил глухо:

— Поплачь, внучек, поплачь... Жить-то надо...

А сам дед не плакал, только с лица почернел. И борода у деда вроде бы тяжелее стала, клонила голову книзу, гнула его, и без того уже согнутого. Шутка ли — две войны отвоевал дед. Империалистическую, гражданскую. Потом до старости на железной дороге работал. Отдыхать бы ему теперь в спокойствии, да тут еще и эта война пришла, опустошила дом, принесла горе, подлая...

— ...Сообчаю тебе, что приходил к нам в гости Фрол Чеботаров, — под ровное горготание крупорушки говорила бабка. — Теперь он новый колхозный голова. Мы уж прописывали, что с фронта он пришел шибко скалеченный — без ноги, и рука обожженная у него сохнет...

— Погоди-ка, баб, — сказал Шурка. — Листок переворачивать нужно... Пускай чернила просохнут.

— Пускай, — согласилась бабка. — И ты отдохни.

Перечитывая написанное, Шурка запнулся на непонятных словах «колхозный голова» и, задумавшись, вспомнил свою первую встречу с нынешним председателем.

С фронта Фрол Чеботаров вернулся в покос. Встречавшие его, особенно деревенские пацаны, говорили, что у него орденов на всю грудь и еще медалей с горсть. Шурки тогда не было, а посмотреть на веселого Фрола, уезжавшего с его дядьками, ему хотелось. Но когда они встретились, никаких орденов он не разглядел. Фрол лежал на земле рядом с магазином. На крыльце сидел выпивший дед Колотилкин, еще весной получивший похоронку на своего Кольку-танкиста. Дед плакал, глядя на Фрола. Сапог на единственной ноге Чеботарова скалился гвоздями, а самодельная культышка была неумело затянута сыромятными ремнями. Напрягаясь так, что на шее вздувались жилы, пытался Фрол подняться с земли, да нога скользила, а второй не было, и он снова валился на бок, ругаясь вовсю.

Но тут подошла к Фролу сельсоветская председательша тетка Мария. Она помогла ему встать, отряхнула, спросила негромко:

— Опять тоске предаешься?

Фрол припал к теткиному плечу, скрипнул зубами:

— Ты пойми, Мария... Душу пойми!

— Понимаем, все понимаем, — ведя покорного Фрола, говорила председательша. — Да сам себя в стыд роняешь, фронтовичок ты наш дорогой...

Шурка долго смотрел им вслед и, расстроенный, потихоньку пошел к мосту через речку. Догадался он, что жалко Фролу свою ногу, оставленную в подбитом танке, обидно быть калекой.

Даже сейчас, вспомнив ту встречу, Шурка не удержался от вздоха, опять торопя перо за бабкиными словами.

— ...Лето нынче удалось, в огородах все уродилось, и люди запаслись на зиму. Мы огурцов хорошо насолили и капусты. Картошки семь мешков сдали в колхоз по самообложению. Картошки, капусты и огурцов свезем на базар, справим Шурке одежку да катанки по ноге подберем...

— А когда напишем, что дедушка наш в больнице

лежит? — спросил Шурка, обрадованный словами о новых катанках.

Не дождавшись ответа, он посмотрел на бабку. Видно, устав крутить жернов, она сидела, подперев рукой голову и глядя в темный угол избы. Ответила бабка не сразу.

— С плохой вестью зачем торопиться? Вот встанет дедушка, тогда и пропишем, что маленько хворал... — Она еще помолчала и вдруг заулыбалась: — Ты ему лучше про Варьку, почтальонку нашу, пропиши-ка. Да привет от нее передай.

Шурка, удивленный, что нужно писать привет еще и от Варьки — сестры его дружка Юрки Шарапова, задаваки с длинной косой, — заупрямился, но бабка стояла на своем:

— Пиши, дурачок, пиши. Много ты понимаешь! Им там все о доме охота знать. Что тебе, грамотному, тяжело, что ли? Пиши: Варька, дочка дорожного мастера Сергея Петровича, жива и здорова, держит себя в красоте и строгости, баловством не занимается...

Бабка говорила про Варьку что-то еще, но Шурка строчил уже самую важную часть письма — от себя. «Дядь Клим! — выходило из-под пера. — Учусь я хорошо, как ты и прописывал, для помощи фронту. Учительница ставит мне «хор.» и «отл.». А завтра праздник. Сказывал мне Юрка Шарапов, что на станцию опять передали наркомовский подарок. Значит, дадут нам завтра шоколадки, конфет, может еще и пряников. А мне обещали выдать новые штаны или материю на них. Это уж Юркин отец сказывал. Потому как я сирота и племянник фронтовиков. Но штаны, видать, привезут в другой раз. Я и подождать могу, хотя эти крепко поизносились... Ты, дядь Клим, однако, здорово фашистов колошматишь, если еще был поранен и к ордену опять приставлен. Бабушка только плакала и говорила, что она сердцем неладное чуяла. Почему про ранение сразу не сообчал? Это не дело! Я бы тогда тебе чаще отписывал. А у меня, дядь, тоже беда. Нонче занесло пал с покоса на край нашего огорода, а там я пароход под заплотом прятал. Он и сгорел, и жалко до слез. А помнишь, как мы с тобой у деда без спросу арбузы таскали? Помнишь? Мы тогда жерди возили и арбузные корки кидали в траву, а дед-то нас и опознал в шкоде и

тебе хворостиной грозил. Вот потеха была! А счас, дядь Клим, тут без вас тихо...».

Забывшись, усердный Шурка высунул кончик языка и, склонив голову, торопил слово за словом, видя перед собой родное лицо дядьки Клима. Это была для него счастливая минута. Довольный возможностью поговорить с дядькой, он вспоминал всякое из прошлого, дорогого обоим. Выводя слова, Шурка представлял, как дядька Клим командует огнем своей пушки, сщелкивает с бугра фашистские танки. А потом садится в окопе, читает это письмо товарищам-солдатам, щурит смешливые глаза и говорит, как раньше: «Во дает, короед пузатый! Глядите, чего отчебучивает...».

— Чего пишешь-то? — в который раз спросила недовольная бабка. — Все от себя? Скрипит и молчит! Давай-ка читай, чего написали, а я вспомню чего, доскажу...

— Писать уже некуда, — сказал Шурка. — Я тут уже и «до свиданьица» вывел.

— Гляди, грамотей! — осерчала бабка. — Успел уже.

Обычно письма перечитывались, и при этом Шурке приходилось хитрить. Он пересказывал бабке приветы, которых на бумаге не было, да разные подробности про соседей. И в этот раз Шурка сделал так же, вспомнив и про Варьку, про которую и не подумал писать. А в конце с чувством прочитал написанное от себя.

— Ну вот и молодец! — похвалила ничего не заметившая бабка. — Ложись уже, Витюше завтра отпишем...

— А хлебушка не дашь, баб? — собирая тетрадку, спросил Шурка.

Бабка перестала крутить жернов, молча пошевелила губами, ответила, виновато вздохнув:

— Нету ж хлеба... Завтра поутру привезут.

— Ладно, баб, — смутился Шурка. — Это я так спросил.

Он снял штаны с заплатами на коленках, сшитую к школе рубашку из голубого сатина и забрался под одеяло. Его кровать стояла в дальнем углу, там было прохладней, и Шурка стал укутываться с головой. Копошась, он не слышал, как подошла бабка, только почувствовал, что она подтыкает одеяло под ноги, а свер-

ху укрывает его еще и старым полушубком. Потом бабка ткнулась рукой к изголовью внука.

— На-ка вот, сухарик нашла...

Шурка торопливо сунул руку в темноту, и в его ладони оказался кусочек сухого черного хлеба. Он надкусил его, и, жмурясь от удовольствия, стал медленно жевать. Обрадованный, засыпая, он думал про письмо, которое прочитает дядька, про завтрашние праздничные подарки.

Шурка так и уснул с улыбкой. За стеной старого дома проносились составы, по-зимнему гудел обещанный закатом ветер. Прислушиваясь к голосам ночи и вздыхая в полумраке избы, бабка все крутила тяжелый жернов крупорушки.

ОШИБКА

Самое дорогое, что было у чувашонка Вани Колесина с разъезда, — это краски. Не простенькие кругляшки на картонке, а настоящие, в белых ванночках, похожих на хлебные формы, и в красивой коробке.

Все потихоньку завидовали Колесину, но даже Митяй Будыкин, который сидел рядом с Ваней в ряду третьеклассников, не пробовал отобрать хотя бы одну красочку: все знали, что это не просто краски, а премия.

Как-то еще по осени пришел в школу председатель колхоза Фрол Чеботаров. Осмотрел единственный класс, простучал ногой-деревяшкой по скрипучему полу, нахмурился, а потом стал рассказывать, как тяжело в сырую погоду убирается хлеб, как теряется зерно, так нужное фронту. И попросил ребят выйти на поле, пособирать упавшие колоски.

— Кто в работе отличится, тому от правления отломится премия, — пообещал председатель. — А это очень даже почетно — получить колхозную премию...

На другой же день учительница Нина Васильевна

отменила занятия. Собрав ребятишек постарше, повела их за село, на ближний массив, где была уже скошена пшеница. На меже ученики растянулись цепью и с мешками через плечо пошли от края поля, повдоль рядков, между глубокими следами комбайна.

Сперва работалось легко, но часа через два разговоры в цепи затихли. Было слышно только шарканье ног о жесткую щетку стерни. Еще погодя поле стало казаться слишком уж длинным, рядки бесконечными. А колоски на полегших, подрезанных стеблях лежали часто, и за каждым нужно было наклоняться, захватывать в горсть и, не разгибаясь, запихивать в мешок. Мешок, вроде бы незаметно, наполнялся, оттягивал лямку, и приходилось относить колоски в общую кучу, а потом возвращаться в цепь.

Нет, не простой оказалась работа... А тут еще холодный ветер, шибко уж вольный на раскрытой ладошке поля. И дождик то и дело принимался моросить. Как же не хотелось чавкаться по мокрой стерне! Но ребятишки выходили и на третий, и на пятый, и на седьмой день. А с ними, в светлый ли час или в пасмурный, становилась в цепь Нина Васильевна.

Учительница совсем уже старенькая. Жила она в деревне еще со времен ликбеза. Тут и мужа, на бугре за школой, схоронила, одна двух сынов подняла. Потом уехали они жить в город, бывали наездами. И летом сорок первого обещались приехать, да не довелось. Оба ушли на фронт и — что страшно — полегли в первый же год...

Нина Васильевна и прежде не закрывала свой дом от людей, а в горе и вовсе без них не могла. Жила, как все, трудно; все куда-то тянулась, будто за головами, за чужими судьбами видела свою главную цель, к которой хотелось успеть поскорее. Она и в цепи нет-нет, да вперед других вырывалась. И сама до кучи свой мешок относила. Когда отдыхали, говорила ребятам, что нельзя им тут отступать: земли худые, урожаи слабые, и каждый колосок на счету, а колхоз должен выполнять государственные поставки.

За учительницей и ребята тянулись, обгоняли друг дружку. Когда работу, наконец, закончили и подбили бабки, вышло, что лучше других старался Ваня Колесин. Этому все подивились... Ладно бы Митяй-второ-

годник всех победил, проныра Петька Варнаков или деревенский Демка Пронов — крепкий, как дубок, а то — Ваня, которого и в цепи-то не сразу заметишь.

Тихий, робкий, смугловатый с лица, он всего на свете стеснялся. Даже своих рук с бородавками, повылазившими неизвестно с чего. Не любил он громкого разговора, озорства, шумной игры. Потому больше в сторонке от сверстников держался, ближе к слабым да малым. Придут ребята на озеро, разденутся и давай бултыхаться, дурачиться, а Ваня опять в стороне. Сидит тихонько и лепит из глины фигурки разных зверей, человечков.

Больше всего на свете любил он рисовать. Как попадет ему в руки лист чистой бумаги, так он начинает выводить едва видимые, непонятные даже сначала штрихи и черточки, а потом вдруг четко проступает то голова человека, то лошадь, а то самолет, белка на ветке или танк, идущий по склону бугра.

Прошлой зимой через деревню ехали в Узловую охотники из тайги. Везли на санях обледенелые туши диких коз и сохатых, а в большой клетке — живую рысь. Пока охотники отогревались за чаем в доме своего товарища Романа Пронова, все ребята сбегали на рысь поглядеть. И Ваня не удержался. А потом нарисовал зверя в своем альбоме. На рисунке рысь глядела из клетки с такой тоскою в глазах, что всем становилось жалко вольного зверя.

Нина Васильевна посмотрела рисунок, погладила Ваню по голове, сказала:

— Талант! — И добавила с легкой радостью: — Учиться тебе надо бы, Ваня...

Ребятишки подивились таким словам Нины Васильевны. Куда еще Ваньке учиться, если он и так одни пятерки таскает? Вот Митяю — это да, надо учиться. Он по лишнему году и в первом, и во втором классе сидел. А теперь в третий по второму разу ходит, и опять дело у него не лучше идет. Пока объясняют ему, в который уж раз, задачку, уже и первоклассник Пронов Тарас начинает руку тянуть, Митяю подсказывать. А тот только сопит. Руку на парту выложит — она поперек всей парты, в обхвате почти что мужицкая. Ноги так и вовсе с трудом умещаются, и голова выше всех остальных торчит.

Слушая, как сумрачно молчит Митяй у доски, Нина Васильевна говорила, вздыхая:

— Эйнштейном, Дмитрий, тебе не бывать... Хоть бы рос ты поскорее да к какому делу пристраивался.

Бороться с Митяем или наперегонки бегать мало кто из ребят соглашался. Вот и на поле выходя, многие думали, что уж тут-то Митяй всех обставит. А вот гляди — сам он отстал от малого чувашонка. И не ему, а Ване при всей школе колхозный председатель вручил премию — коробку с красками. Вручил — и как взрослому руку пожал.

От такого подарка Ваня до немоты растерялся, а ребятня, поломав строй, окружила его и стала разглядывать коробку с картинкой и яркой надписью: «Акварель». Под этим непонятным словом буквами поменьше стояло: «Краски медовые».

Прочитав это, вечно голодный Петька Варнаков тут же открыл коробку и, долго не думая, лизнул черную краску. Вымазал язык, губы и долго плевался от горькости во рту. Какой тут мед! Над Петькой смеялись, а он бурчал, что эта акварель и не настоящая вовсе, потому так непонятно называется.

Но Петька — Петькой, а Ванины глаза так и светились от радости. Председатель попросил его разрисовать колхозную стенгазету, которая висела в правлении. От времени она уже выгорела и была густо засижена мухами.

— Сможешь серьезное дело?

— Лист большой надо, — сказал Ваня. — Твердой бумаги...

— Это у меня в заначке имеется, — успокоил его председатель.

Перед октябрьским праздником Ваня принес в контору разрисованную газету. Посмотрели все на нее и ахнули: так здорово получилось. В верхнем углу нарисовал Ваня солдата, моряка и колхозников — тракториста в фуражке с автомобильными очками и еще двух теток в телогрейках и платках. Лица у них свежие, глаза с веселинкой. А в нижнем углу листа сжимался в комочек Гитлер с кучкой кривоногих и скрюченных фашистских генералов. Лицо у него косоротое от страха, глаза выпучены, а усики торчат, как у перепуганного кота.

Председатель поглядел на газету со своей прищуркой, одобрил, но заметил:

— Что-то у тебя, Ванюш, наши больно розовые получились. Такие, знаешь, каждый день мясо, однако, едят...

Ваня помолчал, а потом сказал, что нарисовал все, как в жизни видит, а Гитлер, хотя и мясо трескает, все равно окочурится да и сдохнет.

— Это ты верно говоришь.

Газету вывесили в конторе, наклеив на нее исписанные листочки.

Этими красками на меду много чего понарисовал Ваня в своем толстом альбоме — по случаю ему купленном. И все у него выходило легким, красивым и смотрелось немножко получше, чем было на самом деле.

Вот стол, а на нем яблоки, груши, разрезанная дыня, и еще — виноград, которого ему самому пробовать не доводилось еще. И такие взаправдашние они у него получились, что младшие сестренки заспорили, выбирая, кто и чего из них есть станет.

В другой раз нарисовал Ваня елку — зеленую, с нарядными и веселыми игрушками, со свечами и блестками на концах веток. Такую он видел еще до войны, в Узловой, на празднике для железнодорожников. А свою школьную елку ребятишки наряжали самодельными игрушками — ленточками, домиками из спичечных коробков, бусами из фасолин или ягод шиповника, кедровыми шишками...

Посмотрев на Ванину елку, Нина Васильевна сказала, что до Нового года остается немного, и велела всем готовить игрушки. Ребятня сразу догадалась, что теперь уже скоро приедет из тайги старший Пронов, дядя Роман — отец Демки с Тарасом. Он охотился далеко от села, в бесконечных распадках и сопках, где у него зимовье и сарай для коня и подводы. К Новому году дядька Роман приезжал домой и всегда с елкой на санях, закутанной в старую холстину. За день-два до праздника елку заносили в класс, разворачивали. Она отогревалась, расправляя ветки, раздаривая лесной смолистый запах. И начиналось у елки торжество, стихи и песни, потом Дед-Мороз раздавал всем маленькие пакеты с подарками...

Ребята стали готовить дома игрушки, но тут заболе-

ла Нина Васильевна. От простуды, а еще, как говорили взрослые, от истощения и усталости. Она ведь одна все четыре класса вела. В первую смену — четвертый и второй, а первачки и третьеклассники ходили в школу после обеда: чтобы меньше им мерзнуть дорогой.

Зима заваривалась круто. Осенью враз навалило снегу, а с декабря ударили крепкие морозы. В безветрии печной дым поднимался прямыми столбами, и Ване все казалось, будто деревенские дома спущены на косогор по этим дымным столбам из глубины бледно-голубого и тоже холодного неба. А дома полустанка вжимались в снег от морозов, перед которыми только скрип не сдавался, а упрямо крепчал. Тягуче и тонко вырывался он из-под санных полозьев, из-под копыт коров и лошадей, с заиндевевшими мордами трусивших на водопой к проруби на озере.

Зима, когда одежонка плохая да харчи постные, — скучное время. На дворе долго не выдержать. Раз, другой с горки скатился — и домой, греться. В сарае поковырялся, к колодцу за водой сходил — опять охота к теплу.

Вечера зимой долгие, а лампу, экономя керосин, зажигали только с приходом отца, молчаливого после тяжелой работы на линии. Наскоро ужинали и ложились спать.

Ночи такие длинные, что Ваня и спать уставал. Подолгу лежал у прохладной стены с раскрытыми в темноте глазами, слушал, как тяжело пыхтят паровозы, ведущие составы на запад, к войне. А те, что шли на восток, бежали разгонисто, отбрасывая гриву из дыма. Много таких резвых паровозов нарисовал Ваня в своем альбоме.

Зимой одна радость у Вани и его погодков — школа. С полустанка в нее ходили чаще ватажками, подбираясь по одежке. Кто получше одет — шагал медленно, кто слабее — добирался вприпрыжку. Да и в школе не больно-то согреешься. Завалинку подправить некому было, и от пола тянет холодом. Если кто забывал на парте пузырек с чернилами, поутру надо было на печке оттаивать.

Но как ни холодно, как ни далеко ходить, а в школе всегда лучше, чем дома. Тут ребятня собиралась вместе, и всем находилось занятие. А главное, всегда

что-то новое открывалось. Почему и расстроила ребят болезнь Нины Васильевны.

Неделю целую просидел Ваня и заскучал было, но тут прибежал Петька Варнаков и сообщил, что из Узловой приехала новая учительница и завтра велено всем приходить в школу.

Собравшись пораньше, ребятишки расселись по партам, притихли в настороженном нетерпении.

Когда вошла учительница, Ваня подивился на нее — молодую и нарядно-красивую. Таких нарядных он видел только на цветных картинках в журналах. Лицо у учительницы светлое, глаза большие, а волосы завиты и вроде высокой шапки надо лбом поднимаются; темная юбка, толстый свитер под синим костюмом, легкий шерстяной платок на плечах и белые чесанки по ноге, с союзками из желтой кожи.

Она поздоровалась негромко, сказала, что зовут ее Светланой Яновной и что сегодня она будет знакомиться с учениками. Тут же и стала вызывать первачков по списку. Разглядывала каждого, проверяла оценки в журнале, тетрадки просматривала...

Пока учительница занималась первачками, Ваня достал свой альбом с карандашиком и легкими движениями стал рисовать ее. Рисовал быстро, лишь украдкой поглядывая. И особенно выразительные получились на портрете глаза. Они смотрели задумчиво, с едва уловимою добротой, которую Ваня всегда чувствовал в глазах Нины Васильевны. Только Нина Васильевна была старенькая, даже вроде бы строгая, а новая учительница улыбалась, отчего ребятишки повеселели.

Ваня еще рисовал, когда дошел черед на знакомство до его соседа по парте — Митяя Будыкина. Тот встал и нехотя распрямился над сидящей вокруг мелюзгой.

— Ого! — подивилась Светлана Яновна. — Кой тебе годик, жених?

Малышня запорскала смехом, засветилась глазенками, ожидая еще чего веселого от учительницы. А она посмотрела в журнал, перелистала тетрадку Митяя, заметила:

— Вот уж точно про тебя сказано: «Не хочу учиться, хочу жениться». Оценочки!.. Ну-у, удалец, садись. Продолжай в том же духе.

Митяй, устроясь за партой, хмуро помолчал, потом прошептал с обидой:

— Насмешничает, язва такая...

Подняла учительница и Ваню Колесина. Он встал, малый росточком, опустив лицо и держась за крышку парты. Светлана Яновна просматривала оценки по грамматике, по родной речи, по арифметике.

— Оказывается, в школе есть и отличники, — усмехнувшись, подивилась она. — Только чего же ты прячешь лицо, будто девица? Ну-ка, посмотри на меня!

Ваня поднял голову, глянул на учительницу и почему-то тревожно екнуло у него сердце. Светлана Яновна улыбалась, но Ваня видел, что улыбается она только лицом, а большие глаза неподвижны, будто льдинки...

Расстроенный, сел Ваня за парту. Украдкой взглянул на свой рисунок. С листа на него смотрит вроде бы та же учительница, но только так, сверху похожа. Глаза совсем не такие... Он захлопнул альбом и спрятал его в сумку с книжками.

На другой день Ваня ожидал, что Светлана Яновна войдет в класс с улыбкой, легко заговорит и все тревожное развеется. Но она вошла хмурая, как после угара. Заговорила негромко, выталкивая слова по отдельности, как на диктанте. Заскрипели перья. Услышав частое пошмыгивание простуженных ребятишек, учительница крикнула:

— Перестаньте сопеть!

От неожиданности Ваня дернулся, а Митяй посадил в тетрадке кляксу. Ребята подняли головы, но, не увидев виноватого, стали переглядываться. Как же не сопеть, если от мороза носы у всех слабые?

Петька Варнаков мазанул блестящим рукавом над верхней губой и спросил с серьезным недоумением:

— А ета... Чем же держать ее? Она вот бегит и бегит!

Учительница передернулась от Петькиных слов, назвала его бескультурщиной и поставила в угол у печки. Строя всем рожи, Петька там и проторчал до конца урока.

Потом Светлана Яновна обидела ребят Проновых. Сначала подняла Демку, а следом и Тараску, сидевшего в ряду первачков. Оглядывая братьев, покачала красивой головой, усмехнулась:

— Какие... дикообразы! В попы записались или форму двадцать разводить собираетесь?

Проновы и вправду крепко подзаросли, но ходили чистые, одежка у них стирана в срок, залатана матерью или бабкой.

От таких обидных слов Демка рассерженно засопел и объяснил, бубня:

— Нас всегда папка подстригает. Машинкой. А счас он в тайге, на охоте...

— Меня не интересует, где ваш папенька, но завтра с такими лохмами в класс не являйтесь, ясно?

По крестьянской упорности, Проновы учились старательно. Пропускать уроки не хотели, и вот пришлось их матери подстригать сыновей ножницами. А она и машинкой-то стричь не умела...

На другой день, увидев полосатые головы братьев, ребятишки заулыбались, а учительница заметила:

— Можно бы лучше, но уже хорошо, что коротко. — Тут же, оглядев класс, она повысила голос: — А теперь все делают упражнения самостоятельно.

Ваня Колесин уже заметил, что у Светланы Яновны они больше самостоятельно занимаются. Укажет она одному классу задание, другим даст примеры для решения, а сама уходит в комнатку за перегородку или устроится за столом с толстой книжкой, закутается в теплую шаль и сидит, будто никого больше нет, и ждет. А уж потом, проверяя задание, сжимает губы, приговаривая негромко: «Неучи толстолобые!» и черкает в тетрадях красным карандашом, выводя жирные колы и двойки.

А то вдруг на третьем уроке взялась проверять чистоту в ушах. Холодными пальцами оттягивала уши, брезгливо заглядывала в них и приказывала:

— Мыть!

А где будешь мыть, если вода в рукомойнике, что в коридоре, давно замерзла? Тогда Светлана Яновна отправила всех по домам.

Назавтра ребятишки шли в школу с робостью, боясь, что учительница еще к чему придерется. А этот день оказался «дровяным».

Испокон веку дровами школу общество обеспечивало. До войны, когда отцы были дома, они собирались артельно и привозили из лесу белые стволы берез,

черные, шершавые дубы с дуплами, лиственницы и огромные тополя. С разъезда везли старые, отлежавшие под рельсами шпалы. По воскресеньям взрослые собирались вместе, пилили, кололи чурки и за глухой стеной школы выкладывали огромную поленницу, которой хватало до самой весны.

Но за войну мало осталось мужиков. За двоих-троих работал каждый, оставленный по брони на железной дороге. А колхозу едва хватало сил с осени трактором приволочь к школе стволы и свалить кучей в стороне от крыльца. Пилили их сами ребята с Ниной Васильевной и уборщицей Домкой — женщиной молодой, но ходившей всегда в платке, повязанном по-старушечьи. Под этим платком прятала она седину, которая просыпалась на ее голову, когда получила Домка бумажку с фронта, что муж ее «пропал без вести».

При Нине Васильевне дровяной день проходил с весельем и шумом. Работали с охотой. Старшие пилили и кололи чурбаки, младшие складывали поленья в кучу, натаскивая их в коридор, к печкам, чтобы Домке потом было малость полегче. Она же не только в классе прибирала и мыла, а еще и топила печи.

И на этот раз, узнав о дровах, смена поднялась, стала одеваться с охотой. Митяй Будыкин, Петька Варнаков, братья Проновы да и Ваня Колесин заторопились к инструменту, что лежал в каморке, в конце коридора. Умением и старательностью им не терпелось доказать новой учительнице, что не такие уж плохие они, не толстолобые вовсе и кой-чего стоят.

Вышли во двор и сразу взялись за работу. Ожидая учительницу, поглядывали на крыльцо, но Светлана Яновна не торопилась к ним на подмогу. Домка, как и всегда, ворочала чурки молча. И не сразу, но деловой запал ребятни начал гаснуть. А когда работа через силу идет — все не так получается. Проновы вяло ширкали по чурке, ворчали на тупую пилу. Петьке Варнакову, помогавшему чурку на козлах держать, в глаз опилки попали. Девчонки подступились к нему, стали соринки вытаскивать. Митяй тем временем затеял с мальчишками чехарду. А дрова не пилятся и не колются.

И тут, в самый разгар канители, появился над деревней самолет. Не какой-нибудь кукурузник, а истре-

битель с аэродрома, который открыли за станцией Узловой. Ребята знали, что на том аэродроме перед отправкой на фронт учатся молодые летчики. Самолеты часто летали над деревней и полустанком. Но этот истребитель вдруг снизился и стал прямо над школой кружить. Чуть не к самой земле спикировал, тут же взмыл и, переворачиваясь с крыла на крыло, ушел за мглистые облака, а потом вынырнул совсем с другой стороны.

Следя за вертким самолетом, Ваня Колесин представлял, как за штурвалом сидит летчик в кожаном шлеме с очками, в перчатках с широкими раструбами и толстых унтах. Он даже лицо его «нарисовал» для себя — мужественное, крупное, с резкими чертами.

— Во дает! — заорал Митяй и, сняв с головы шапку, высоко подбросил ее. — Э-эгей! Давай, давай еще!

Карлушка, закутанная в платок, топталась среди ребят с полешком в руках и, морщась на ветру, тоже задирала свою курносину кверху.

— А он на жемлю не упадет? — спросила она тоненьким голоском.

— Сама не упади, кнопка-свеклопка! — сказал Пронов Тарас. — Смотри вон, смотри как летает!

И тут все увидели Светлану Яновну. Накинув на плечи шубку, она отбежала на середину двора и, сорвав с головы шерстяной платок, замахала им в воздухе.

Удивленный Демка Пронов нахмурился и пробурчал:

— Во... А она чего выскочила? Ей-то чего тут?

Но с появлением учительницы самолет круто свалился на крыло и стал падать вниз, прямо на школу. Все замерли. Когда до земли оставалось совсем немного, самолет взревел мотором, стал выравниваться, и тут от него отделился темный комочек. Обдав всех ветром и грохотом, истребитель взмыл вверх и, набирая высоту, направился в сторону Узловой.

Ребятишки, словно по команде, кинулись искать этот комочек. Он упал в глубине двора, в высоких сугробах. Пришлось залезть по пояс в снег. И в самой глубине сугроба нашел Демка Пронов гильзу от пулеметного патрона, а на ней, примотанное суровой ниткой, белело письмо.

Едва Демка выбрался с находкой из снега, ребята его обступили, чтоб рассмотреть невиданную штуковину.

Но Светлана Яновна растолкала всех, выхватила патрон.

— Для вас здесь нет ничего интересного! — сказала она и, придерживая полу шубки, направилась к крыльцу. У двери обернулась, прикрикнула: — Продолжайте, продолжайте работать!

Когда двери закрылись, Митяй циркнул слюной:

— Х-ма, мамзеля! — Он поправил сбитую в толкотне шапку и объявил: — Теперь все знаю... Это жених ее прилетал!

Про самолет ребята больше не вспоминали, но на другой день, шагая по дорожке к школе, на ровном снегу братья Проновы увидели картинку. Кто-то прутиком нарисовал неодетую парочку и подписал внизу: «Лечик и училка цалуюца»...

Тараска хихикнул.

— Смотри, смотри, Дем!

Но Демка и сам уж увидел. Посмотрел и вдруг закатил братану подзатылину, от которой тот в снег сковырнулся.

— Дур-рак! Тут гадство устроено, а ты ржешь!

Тараска молчком поднялся, отступил от брата подальше и только тогда заверещал:

— А ты че дерешься?! Че ты? Кто дурак-то, кто?

— Рисовальщик вот этот! — отмахнулся от брата Демьян.

— Да тебе какое дело? — не понимал Тарас, отчего это брат так обозлился.

— Такое! — Демка ступил с тропы и прошелся по нарисованному. — Она и так нас за людей не считает, а тут сами себя рылом в грязь тычем... — Затоптав картинку, он огляделся, вслух подумал: — Она-то видела ли?..

Тараска тоже осмотрелся на тропе, увидел точеные вмятины от каблуков.

— Во, чесанками следила, — объявил он.

— Ну, теперь будет! — сгорбясь, сказал Демьян, выходя на дорожку. — Теперь только держись...

До урока времени оставалось немного и класс был уже полон. Раздеваясь, Демьян косо оглядел сидевших за партами и по лицам понял, что картинку все видели. Митяй ухмылялся, Петька Варнаков сосредоточенно таращился за окно, а девчонки переглядывались и опускали глаза.

— У-у, грамотеи! — проходя к парте, прошипел на всех Демка. — Узнаю, кто рисовал, — всю ряшку разлимоню!

И тут появилась учительница. Вошла она с улицы, с красным и злым лицом. Не снимая шубки, встала у стола, обшаривая класс сверлящим взглядом. Робея от неизвестности, ребята опускали головы. И когда скрипнула дверь, все даже вздрогнули, уставясь на опоздавшего Ваню Колесина. А Ваня переступил порог стылыми валенками, снял шапку, поздоровался и тихо спросил:

— Можно мне сесть, Светлана Яновна?

Косо взглянув на него, учительница ответила, почти не разжимая губ:

— Можно, можно...

Ваня снял телогрейку, устроил ее на свободный крюк вешалки у порога и быстро прошел к своей парте. И только сел, как учительница медленно спросила:

— Так кто же у нас такой хороший художник?

Ничего не знавший Ваня вскинул курчавую голову и даже распрямился, чувствуя, что все смотрят в его сторону. Светлана Яновна тоже повернулась к нему и словно выстрелила:

— Значит... ты?

Краснея, Ваня поднялся за партой и едва слышно ответил:

— Я...

И тут произошло такое... Учительница проскочила между рядами, схватила Ваню за руку и выдернула его из-за парты. Он вылетел в проход, но зацепился за стойку валенком и грохнулся на пол, ударившись лбом о парту. От жгучей боли Ваня тут же вскочил, глянул на учительницу с недоумением и ужасом. Всем своим существом он чувствовал, что совершается что-то непонятное, несправедливое, обидно-жестокое, хотел сказать что-то, но сильная рука ухватила его за плечо и швырнула к двери. Туда же над головами перепуганных ребят пролетела холщевая сумка. Из нее посыпались на пол книжки, тетрадки, альбом с рисунками...

— Вон! — закричала Светлана Яновна. — За родителями! Чтоб сию же минуту...

Перепуганный Ваня схватил с вешалки телогрейку и как был, без шапки, выскочил за дверь. Все еще

не понимая, чего от него хотели, за что так обидели, он скатился с крыльца и, подстегиваемый застрявшими в памяти словами про родителей, побежал под косогор, оступаясь и скользя по дорожке, от школы и вообще от села...

Разбежавшись, он едва не сбил шедшую с разъезда сельсоветскую председательшу тетку Марию. Перехватив мальчишку, та вскрикнула:

— Это что за бегунок такой? — Тут тетка Мария увидела вспухшую на лбу шишку. — Да кто тебя так?

Ваня забился в крепких руках, силился что-то сказать, но только всхлипывал, не успевая сглатывать слезы. Председательша прикрыла его полою пальто, прижала к себе.

— Ну-ну, — строго и успокаивающе заговорила она. — Вот уж беда... Подумаешь, шишкой на лбу обзавелся. Пройдет! До свадьбы все заживет. Да с кем ты воевал, тихий такой?

Давясь слезами, Ваня пытался объяснить все сразу, и от этого говорил еще непонятнее.

— Я... Я... А она... заругалася, толкнула... Она...

— Да кто же это? Что за девчонка такая?

— У-уучителка...

Ошеломленная тетка Мария выпростала из-под полы Ванино лицо, заглянула ему в глаза и с недоверием переспросила:

— Учительница?

Ваня только кивнул. Председательша, опять укрыв его полой и придерживая под боком, быстро пошла к школе.

Светлана Яновна все еще стояла перед рядами парт и, раскрасневшись, говорила что-то злое. Увидев председательшу, она онемела. А тетка Мария, войдя в класс, сразу наткнулась на лежавшую у порога сумку, подняла ее, уложила книжки, тетрадки. Передала сумку Ване и тут под стеной увидела еще и раскрытый альбом. Подняла его, отряхнула и в упор посмотрела на Светлану Яновну:

— За что избит мальчик?

Учительница часто заморгала, красивое лицо ее покрылось пятнами.

— Его никто не избивал... Произошел неприятный инцидент, — заторопилась она. — Этот мальчик неосто-

рожно выскочил из-за парты... Все произошло случайно. Может, и я не сдержалась, но виноват он. Он сам признался. Я вот и хотела поговорить с родителями...

— И в чем же он виноват?

— Он нарисовал, понимаете, скабрезность. — Учительница нагнулась к тетке Марии и что-то быстро зашептала ей на ухо. — Вы же понимаете, — уже громко сказала она, — что я не могу этого так оставить. Это компрометирует, и это же все не так...

— Я и вижу, что это не так, — перебила тетка Мария и повернулась к Ване. — Ты на снегу рисовал что-нибудь?

Ваня удивленно смотрел на председательшу, на ребят и растерянно молчал.

— Рисовал или нет? — повторила тетка Мария.

— Зачем — на снегу? Что рисовал? — не понимал Ваня.

Председательша с горечью усмехнулась:

— Его рисунок и на снегу был бы отмечен. — Она раскрыла альбом, который все еще держала в руках и, перелистывая его, стала показывать Светлане Яновне рисунки. — Вот что он рисует, смотрите...

Она перевернула еще один лист и увидела портрет Светланы Яновны. Взглянув на рисунок, на Ваню, покачала головой и опять протянула альбом к лицу учительницы.

— Вот где он вас нарисовал... Видите?

Она шагнула к Ване и, отдавая ему альбом, сказала:

— Не серчай, Ванюш, на этот раз ты ошибся, совсем непохоже человека нарисовал, дорогой наш художник... — И повернулась к Светлане Яновне: — Отпустите ребят и пойдемте со мной. Мне надо позвонить в районо.

В окно было видно, как они спускались от школы к правлению колхоза, где был телефон. Тетка Мария шла спокойно и твердо, а Светлана Яновна семенила чесанками, дергаясь и взмахивая руками.

Ребятишки стали собираться домой. Сопя и отворачивая глаза, Петька Варнаков протянул Ване Колесину его шапку. Тот машинально надел ее, стал было заталкивать в сумку альбом, но остановился, нашел тот рисунок и порвал его.

В школу Светлана Яновна больше не пришла, а на другой день ее и совсем не стало в деревне. И никто о ней не жалел. А потом поправилась Нина Васильевна. И снова ребятишек тянуло в класс, на уроки, а шишка у Вани сошла.

Тут подступил Новый год и встречали его, как всегда, — с елкой, стихами, песенкой в хороводе и с подарками.

КРУШЕНИЕ

Та зимняя ночь начиналась, как многие. С вечера, когда новоселка Чердымова заступила на дежурство по станции, из-за сопок поднялась было луна, но, так и не осветив округу, скоро сама запуталась в темноте. Мороз схватывал все живое и неживое, да так сжимал, что и лед на озере трещал беспрерывно. Полустанок затих до утра. Светилось только окно станции да семафоры глядели вдоль линии то красным, то зеленым глазком, первыми встречая проходящие поезда.

Долго тянется бессонная ночь... А подутренние часы — самое тяжкое время. Чтобы прогнать дремоту, дежурная выходила на мороз, стояла в проеме двери совсем маленькая, как грибок поздней осенью. Тут, на холодном крыльце, она то вспоминала страшные дни, когда с детьми на руках под бомбежками уезжала от немецкой оккупации, то, придерживая дыхание, удивлялась близости звезд, морозной чистоте неба, а сама все слушала шумы на дороге, угадывая подходящий поезд.

Они шли и шли, каждый в свою сторону. Вот и еще один — с запада. Освещая дорогу яркими прожекторами, он катился под уклон легко, быстро. Дежурная заранее спустилась с крыльца, подошла к линии и подняла фонарь. Охваченная снежным вихрем, постояла, слушая колесный перестук, а проводив взглядом красные огни на последнем вагоне, заторопилась в станцию.

Как и положено, она сразу взглянула на часы, отметила в журнале время, позвонила на соседние станции, потом присела к селектору — для связи с диспетчером.

Тут вдруг широко распахнулась дверь и вбежал путевой обходчик Яков Слободкин. Разодрав опушенный инеем рот, он запаленно выдохнул:

— В выемке... крушение!

Лицо дежурной стало белее стенки, в глазах заплескались страх с надеждой вперемежку. Сразу представилось, как падают под откосы вагоны, как легко разламываются платформы, паровоз, как страшно трещит, рвется и звенит умирающее железо... Тут же в мыслях промелькнуло, что вот дорога вышла из строя, а время суровое, когда все и за все отвечают по-особенному... Еще на что-то надеясь, она молчала, глядя на Слободкина. Он ткнул в окаменевшую дежурную рукавицей, сказал почти шепотом:

— Крушение же, говорю... Слышь ли?

Онемевшим пальцем она нажала кнопку селектора, глухо, через силу доложила диспетчеру отделения про катастрофу. И сразу по многим проводам понеслись тревожные звонки и предупреждения. Они останавливали поезда, поднимали людей...

Узнав о крушении на своем околотке, похолодел мастер Шарапов. Через пять минут в окнах путейцев замерцали отсветы ламповых фитилей. Наскоро одевшись, люди по скрипучему снегу торопились к гаражу и, захватив инструмент, бежали к выемке.

...Над сопками только-только прорезалась полоска холодной зари, когда под окнами спящего Семушки снежным целиком вдоль линии к выемке тяжело прошли танки. На полустанок примчались две мотриссы с начальством, врачами, экспертами, энкаведешниками и отделением солдат-автоматчиков. На станции опечатали журналы, велели Калиткину до срока заступить на дежурство. Оглушенная горем тетка Чердымова молчала,

делала все, как во сне, и только когда ее повели к мотриссе, повернулась с порога к Калиткину, попросила негромко:

— За моими тут присмотрите...

Тем временем место крушения оцепили автоматчики. Рабочие искали уцелевших из поездной бригады. Коекак добрались до будки переломившегося надвое паровоза, нашли мертвых кочегара и машиниста, все еще сжимавшего ручку экстренного торможения. Помощник машиниста был еще жив, но едва дышал переломанной грудью.

Не сразу, но обнаружили и кондукторов. Один стонал под ворохом досок, другой подал голос из нагромождения платформ и вагонов, а кондуктор с хвостового тормоза сам выбрался к спасателям, держа у груди изувеченную руку.

Разбирать завал начали на рассвете. Эксперты сперва осматривали колесные пары, буксы и тормоза вагонов и только потом разрешали солдатам цеплять к ним тугие танковые тросы. Сигнальщики взмахивали флажками, и танки, ревя моторами, волокли из места крушения то сплющенный вагон, то искореженную платформу, то смятое, изуродованное звено пути. Но прежде всего оттащили черные, послетавшие с катков цистерны с бензином.

Работа шла быстро, а эксперты все осматривали и переписывали части состава, в котором были вагоны с мануфактурой, солдатскими шинелями, станками, деталями для самолетов... Были тут и полувагоны с блескучим углем, платформы с досками, кирпичом. Среди них оказалась четырехосная платформа, накрытая брезентом. Эта даже устояла на колесах, только перекосило ее, борт развалился у края и брезент лопнул, обнажая куски крупнозернистой соли.

На подмогу танкам подошли мощные подъемные краны. Посвистывая паром, один начал поднимать части паровоза, смятые вагоны и ставил их на специальные платформы спасательного состава, а другой кран огромным ковшом переносил на откос уголь, обломки досок, балласт... Привезли рабочих с других околотков, пришел студебеккер с солдатами. Работа пошла быстрее.

К обеду, когда потеплело, к выемке от станции заторопилась ватажка ребят — Семушка, Ленька Чалов,

братья Калиткины, Загидулла, деревенские — Цезарь и Пронов Тараска.

Шли по линии, слушая Проньку и Толика. Эти с утра торчали у отца на станции, слышали переговоры начальства и теперь рассказывали, как ахнуло, да как стало разваливаться, да хорошо, что, начав кувыркаться, бензиновые цистерны не шарахнулись одна об другую. А то бы взрывом в горловине выемки все в конец изуродовало. Но Семушка Калиткиных почти и не слушал. Скрипя по снегу растоптанными валенками, он прятал нос в ворот шубейки и думал совсем о другом.

Утром, узнав от Варначат про крушение, Семушка заторопился на станцию, к своему приятелю Леньке. У Чаловых за столом сидели ребятишки Чердымовы — и Люся, и Люба, и Славка. Тетка Катерина — Ленькина мать — подливала им в чашки суп-затируху, приговаривая:

— Ешьте, ребята. Хорошо, досыта ешьте...

Девчонки шевелили ложками тихо, помалкивали, испуганно взглядывая и прижимаясь друг к дружке. А Славка охотно хлебал суп, который не каждый день в домах затевали.

Жуя, Славка повертел стриженой головой и вроде бы ни с того, ни с сего объявил:

— А мамку-то нашу, говорили, посодют!

Все вздрогнули, Люся опустила ложку и тихонько заплакала.

Тетка Катерина прижала ее голову к себе, погладила волосы, заплетенные в косички, и с укором посмотрела на Славку:

— Зазря себя не пугайте. Кто ж хотел, чтобы падал состав? Вот разберутся во всем и выпустят вашу мамку... А пока что — есть, играть у нас станете. Да и спать можете тут. У нас с Ленькой и Титком не так тесно. А захочется — к себе убежите. Недалеко же...

И тогда, глядя на девчонок и Славку, Семушка перепугался за них — им ведь без матери ой как худо придется...

Как жить без матери, Семушка хорошо знал: вот уж год, как он сиротствовал. Прошлой весной, ночью, не охнув, не застонав, мать его умерла. Будто уснула с каплями слез в ввалившихся глазах с желтыми полу-

кружьями. Семушка утром подошел к ней, позвал, взял за руку... На всю жизнь запомнил он холод этой руки. Но ни тогда, ни на похоронах он не закричал и не заплакал. «Окаменел хлопчик!» — сказала на кладбище Степанида Слободкина. Другие тетки сочувственно кивали, а на Гаврилу Ломова смотрели с укором.

Глядя, как засыпают могилу, Семушка понял, что никогда теперь не будет в доме его надежного друга, тепла и опоры. Мать и больная помогала ему. Она могла взглядом остановить отчима, задержать его грубое слово...

Воротясь с кладбища, Гаврила сказал:

— Живи тут, хошь и не родной ты мне. Гнать не буду. Но разносолов, шубов-борчаток да пуховиков под бока не обещаю. Брать мне их не за что.

Семушка ничего и не требовал. Спал на жесткой кровати с досками вместо сетки, закрытыми старым матрацем, на котором и умерла мать. Гаврила занимал другой угол, где стояла деревянная кровать, застеленная старым солдатским одеялом.

Варили они не по очереди, а кому было сподручней. Но и сварив, и поставив картошку на стол, Гаврила никогда не звал Семушку. И Семушка, погодя, молча подсаживался с другой стороны.

Так вот и ели — каждый со своим хлебом, со своим молчанием. Лишь иногда, недовольствуя на какие-то свои расчеты, Гаврила начинал выговаривать Семушке за дармоедство, ругал мать-покойницу, от которой ничего хорошего не имел, и все наказывал, чтобы этим летом Семушка в самостоятельные пастухи нанимался вместо Сашка-однорукого и чтобы, кроме оплаты, хозяева коров брали его на свой стол по очереди.

— А то, — говорил он, — жить так мы не договаривались. Расходов много, а об их теперь ты сам должон думать...

Семущка жалел, что еще маленький и не может ответить за мать. А чтобы не замолчаться совсем, уходил к дружкам — то на станцию, то на казарму. Но в каждом доме свои заботы и беды, и как не крутись, сколько ни играй, а ночевать к себе идти. И по дому все делать. Печь натопить, дров приготовить на утро, воды принести. Летом картошку прополоть да окучить, при-

смотреть за коровой, которая была к нему добрее, чем отчим.

Закончив четвертый класс, Семушка почти два месяца ходил у Сашка в подпасках, часто и по нескольку дней совсем один оставался со стадом, поредевшим за это время. Держали люди одних коров, молодняк приходилось пускать себе на прокорм: на пустых щах в морозы много не наработаешь на линии с кувалдами да ломами...

В конце августа Сашко свозил Семушку в Узловую. Купил ему штаны, рубашку, даже ношеную железнодорожную тужурку и совсем еще крепкие сапоги:

— В школу бегать в самый раз будет.

Он не знал, что отчим уже отказался платить за Семушку в интернат, за учебники.

— Езжай, учись, ежели тебя государство на всем готовом содержать будет, — сказал Гаврила, починяя мешок перед уборкой картошки. — А у меня не банк, у меня грошей не водится.

Семушка мог бы сказать, что деньги — да сколько их надо-то! — можно выручить от продажи картошки и другой огородины, которую он наравне с отчимом сажал, а летом, по жаре, пропалывал и окучивал... Но и тогда он смолчал. Только потом, проводив Юрку Шарапова, Амоса, братьев Слободкиных и других ребят, не стерпел и поплакал у Зорьки в сарае. Корова косилась на него темным глазом и шумно вздыхала.

Вот и на эту зиму остался Семушка в старой шубейке, купленной еще матерью. Рукава уже совсем коротки стали. Он надшил к варежкам раструбы из брезента, чтобы хоть ветер в рукава не цедился.

Но какое там тепло в брезенте... И теперь вот, шагая с дружками, Семушка толкал поглубже руки в карманы, распоровшиеся по краям, думал про ребятишек Чердымовых, про свою жизнь, про крушение... Прислушался было к Пронькиному рассказу и, неизвестно на что, осерчал:

— И чего ты, Пронька, трещишь все? «Ахнуло, закрутило»... Будто радуешься крушению. Ты его сам-то и не видел вовсе.

Ребятишки удивились, посмотрели на Семушку, а Пронька пробурчал:

— Ты, Семка, прямо ляпаешь, не подумав... Чего

бы мне радоваться? Я-то при чем, если так на станции говорили?

Разговор прервался, и дальше ватажка двигалась молча.

Вот уже и выемка... но на линии стоял сержант в полушубке и с автоматом. Ребятишки потоптались, не зная, можно ли проходить, а сержант, глядя на них, усмехнулся.

— Та-ак... Иностранные наблюдатели прибыли. — Поправив автомат, торчащий за плечом вверх коротким прикладом, он посоветовал: — Ну-ка, герои, загребайте обратно. Пока к железу соплями не попристыли. Отдалбливать вас пока некогда тут.

Ребятишки дернулись рукавичками к носам. Сержант хотя и с улыбкой смотрел, а все поняли, что по линии дальше хода им нет. Но Семушка уже заметил на вершине откоса, до черноты изрытого гусеницами танков, драную шапку Петьки Варнакова. Размахивая руками, тот крутился около танкистов в темных комбинезонах.

Семушка полез наверх, за ним и остальные.

Увидев дружков, Петька звонко закричал:

— Видал, чего тут наделали!

Но ему никто не ответил. Глядя с высоты откоса, ребята не узнавали выемку, через которую ходили в сопки. Теперь ее закупоривал завал из вагонов, платформ, рельсов, шпал, угля, досок. Все это было искорежено, смято, перемешано. «Это же сколько сил надо и времени для ремонта дороги?» — ужаснулся Семушка. Но Петька, будто угадав его мысли, махнул рукой:

— Ништяк все! В пятнадцать ноль-ноль поезда двинутся!

— А пятнадцать — это во сколько? — не понял Толик.

— В обед, значит, — объяснил Петька.

Ребятишки, сощурясь, посмотрели на солнце, глянули вниз, а потом с недоверием на Петьку.

— Думаете, брешу? — загорячился тот. — Хотите знать, так приказано. А приказы не обсуждаются вовсе...

Хвастаясь знакомством, он подбежал к офицеру-танкисту, следившему за буксировкой.

— Верно я им говорю, дядь? Ну, что в пятнадцать ноль-ноль поезда двинут. Верно?

Лейтенант кивнул, тронув Петькину голову перчаткой. А Семушка, косо глянув на Петьку, подумал: «И чего лезет ко всем да прыгает, как воробей?.. Тут люди поубивались да покалечились, добра сколько нагублено, а ему — пятнадцать ноль-ноль...»

Ребята смотрели сверху, как рабочие торопливо подчищают лапатами да кайлами балласт, выравнивают полотно, сбрасывая за кюветы остатки угля, досок, которые не мог захватить ковш крана. Беспрерывно стучали молотки, с морозным скрипом укладывались новые шпалы, вытягивались рельсы. Рабочие вели к завалу новую линию, а впереди у них что-то ухало, скрипело, ревели дизеля танков, посвистывали паром краны.

Наверху, на откосе, пахло соляркой и дымом от костра, у которого по очереди грелись солдаты. Они собирали рассыпанные ящики, коробки и тюки, сортировали их и то составляли в сторонке, то перегружали в вагоны.

Сменившись с поста, к ребятишкам подошел давешний сержант-автоматчик.

— Ну, патроны, вас-то какая нелегкая тут держит? Ведь посинели уже. — И подтолкнул всех к костру. — Вот погреетесь малость, и на полном газу — домой! Простынете, чертенята... — Сержант отступил в сторону от костра, глянул вниз и громко позвал: — Симанков! Ногами сюда!

На откос взобрался невысокий солдатик в кургузой шинелке, натянутой на телогрейку, с круглым и красным от мороза лицом. Протягивая к костру руки, он выжидающе уставился на сержанта.

— Вон у того вагона, — негромко сказал тот, — видел я разбитый ящик с чернилками. Принеси-ка вот им по штучке.

Солдат кивнул, погрелся минутку и заскрипел валенками вниз. Скоро он вернулся и стал раздавать маленькие штуковины из пластмассы, похожие на бочоночки. Выдавливая замерзшими губами «Спасибо!», ребятишки брали их, разглядывали непонятные подарки.

Сержант усмехнулся, взял из рук Семушки чернилку и быстро открутил крышку с воронкой.

— Вот, видели? Наливаете сюда чернила до половины, закручиваете крышку — и макайте перышко на здо-

ровье! Как чернилку ни положи, ничего из нее не прольется. Она и называется непроливашкой. Понятно?

Семушка кивнул, положил чернилку в карман. И хотя ему, отлученному от школы, она была не нужна, он с благодарностью взглянул на сержанта.

У зимнего костра толком не согреешься, особенно если одежка худа и сам уже насквозь промерз. Лицо жара не терпит, а спина и пальцы в валенках стынут. Но и хотелось же посмотреть, как начнет пробовать дорогу первый состав. Вон уже как длинно протянулся готовый путь. И только на выходе из выемки оставалась еще небольшая куча. Вот уж ушел кран с ковшом. Загрузив платформы спасательного состава, утянулся за горизонт и второй кран. И недолго уж совсем оставалось до поезда, но и терпения больше не стало никакого. Семушке казалось, что даже в пустом его животе все перемерзло. И, прикрывая посиневшие лица, засеменили ребята домой.

Еще не доходя до станции, они увидели, как поднялся рычаг семафора, до того дремавший в бездействии. И сразу обрадованно, длинно прогудел паровоз скорого поезда, отправленного на полустанок из Узловой, где не хватало путей для скопившихся поездов. Распустив усы из пара, паровоз медленно потянул состав. Перестукиваясь заснеженными колесами, поезд прошел мимо ребятишек, не верящих, что уже пятнадцать ноль-ноль и что вот началось движение. Ежась от холода, они смотрели, как скорый медленно спускается в выемку и его зеленые вагоны один за другим скрываются за стеною откоса.

Семушка даже вздохнул с облегчением, понимая, что самое страшное позади, что поезда, хоть и с малой скоростью, уже ходят... Вот только-только скрылся один, а к семафору подвигается новый, а с другой стороны, тяжело пыхтя, забирается на подъем нечетный, которому нужно спешить на запад.

К вечеру уладилось многое. Уехали из выемки заиндевелые танки, студебеккер с солдатами. Вместе с уставшими рабочими на полустанок вернулись автоматчики с веселым сержантом. Еще утром тот разместил солдат в пустом зале ожидания. Дневальные установили там железную печку, трубу от нее вывели в окно. Нагрев зал, солдаты вымыли пол, устроили постели.

Теперь, меняясь по очереди, они должны были охранять товары и грузы, оставленные на откосах выемки. К месту крушения часовые не пропускали никого постороннего и смотрели, чтобы у грузов не задерживался никто из рабочих.

Поезда шли в обоих направлениях, в график выходили дежурить путевые обходчики, но ремонтные бригады во главе с мастером Сергеем Петровичем Шараповым каждый день уезжали в выемку, где еще многое нужно было сделать для укрепления пути.

Семушка днями пропадал то в дежурке на станции, где собирались на пересменку обходчики, то у дружков на казарме. Там обсуждались события и говорили о новостях. Говорили, будто экспертиза установила, что крушение произошло от скола в бандаже одной из колесных пар. А скололось колесо из-за плохой отливки и раковины в металле. Что тут к чему, и какая такая раковина могла оказаться в железе, Семушка не очень-то понимал, но радовался, что не тетка Чердымиха виновата, и что скоро ее отпустят.

Как-то за разговорами просидел Семушка на казарме до самого заката. Он ждал, когда Ваня Колесин дочитает и передаст ему книжку про Робинзона Крузо, которую привезла в школу Нина Васильевна. Заполучив книжку, он побежал домой, но на переезде увидел идущую по линии бригаду рабочих.

Как всегда, чуть впереди шагал мастер Шарапов с уровнем на плече. А за ним на двухколесном мадароне везли закрытый брезентом короб. Не инструмент, а что-то непонятное, выпиравшее продолговатой горбушкой. Это и удивило Семушку. Куда подевались ломы, лопаты, кайлы и все остальное, что обычно увозила с собой бригада?

Дядька Шарапов махнул Семушке рукой, и тот вслед за бригадой свернул к гаражу... Подъехав туда, рабочие обступили короб, с натугой подняли и тяжело понесли мимо гаража к красному уголку.

— Семка, дверь, двери открой-ка! — хрипло сказал мастер.

Семушка забежал вперед, вытащил из пробоя никогда не замыкающийся замок и распахнул двери. Протискиваясь через проем, мужики внесли короб в темное холодное помещение и поставили прямо у порога. За-

светили лампу, кто-то снял брезент, и к еще большему удивлению Семушка увидел в коробе соль. Матово-серую, слежавшуюся в комки и рассыпанную крупными зернами.

Он еще не успел подивиться такому делу, не успел догадаться, как же такая прорва соли попала сюда, а в красный уголок уже стали заходить женщины с мешками в руках. Они останавливались около порога, дыша на руки и пряча их в карманы, затихали, неотрывно глядя на уложенное в короб богатство.

Над солью уже второй год тряслись в каждой семье. Теперь ее почти перестали продавать в магазинах, редко, по маленькой мерке, привозила и вагон-лавка. А бойкие людишки из Узловой, неизвестно где достающие соль, на базаре из-под полы драли вдесятидорога. И брали люди. Нельзя же без соли жить...

Особенно бедствовали по осени, когда запасали на зиму огурцы, помидоры, капусту. Недосолишь, — считай, все пропало: закиснет, заплесневеет. А без овоща одна картошка останется. Без соленого и она в горло не враз пойдет. И вот ради осенней засолки во всех домах и квартирах экономили соль, щепотками измеряли дневной расход, другой раз и не досаливали похлебку.

Мастер Шарапов свернул самокрутку, раскурил ее над лампой и, вывернув фитиль, прибавил света. Оглядев усталых мужиков на скамьях, встормошился:

— Ну чего вы? Чего сели-то, говорю? — Он подступил к Куприяну Колесину. — Достань-ка из шкапа весы, гирьки. Взвешивай и отпускай соль.

Мастер вытащил из кармана список, просмотрел его, вроде отыскивая в нем что-то новое, глянул на соль, на мужиков и вслух прикинул:

— Вкруговую, считай, на семью кило по пять можно выдавать? А?

Куприян Колесин — мужик задумчивый, нахмуренный, с длинным лицом — расставил на столе гирьки по росту, подравнял весы и, тоже посмотрев в короб, кивнул:

— По пять за глаза хватит.

— Тогда так и отпускай. После остатки встряхнем и уж по скольку будет — еще довесим.

Тут от двери выступила тетка Катерина со станции. И у нее под рукою Семушка увидел мешок.

— А движенцам как же, Петрович? Иль не дадите?

Мастер с удивлением посмотрел на Чалову, а мужики нахмурились. Все это тетка Катерина поняла по-своему:

— Чего жадничаете? — Или наши мужики не воюют? Или мы не на железной дороге, как вы? Да у нас, вон, Чердымиха самая пострадавшая есть...

— Ты, Катерина, раньше времени язык свой не тревожь, — осадил ее мастер. — Или не слыхала, что все на круг делить будем? На все обчество!

— Дак это ж про путейцев поди?.. — осеклась тетка Катерина.

— На круг, сказано! — жестко повторил мастер. — На всех, значит. И этого добра все тут хозяева. — Он повернулся к мужикам, уже ссыпающим соль с весовой чашки в чей-то мешок. — Чердымихину семью не пропустите... А ты, Катерина, садись вот рядом с Колесиным и отмечай всех, кто получил по списку. Не забудьте стариков Орловых, других залинейных...

Ожидая очереди, женщины готовили мешочки, мужики дымили самосадом и, наблюдая, как убывает соль из короба, негромко переговаривались. Затаясь на краешке скамьи, в самом углу, из их разговоров Семушка узнал, что про эту соль дядька Шарапов еще раньше договорился с лейтенантом — самым старшим над всеми автоматчиками. Сергей Петрович объяснил, как страдает народ из-за соли и что просит он немного, чтобы выдать как премию за авральную работу на ремонте пути. Лейтенант взял это на себя. А сегодня сержант, вроде бы, и не заметил, что нагрузили соли поболе центнера. Остальную соль аккуратно собрали, смели под веник на другую платформу и увезли. В тот же день сняли охрану из выемки, и автоматчики с веселым сержантом уехали в свою часть.

Рассуждая, мужики потихоньку хвалили заботливого мастера. Семушка тоже поглядывал на Сергея Петровича — худого и заросшего, совсем почерневшего за эти беспокойные дни. А еще больше смотрел на теток. И станционных, и казарменских. Они бережно подставляли мешки под железную чашу весов, казалось, совсем маленькую в клешнястых руках Колесина. Но чашка переворачивалась, и мешки тяжелели. Каждой хозяйке сразу по пять кило! Да еще потом, по всему видать, кило-

грамма по два отломится. И, замирая в углу с книжкой за пазухой, Семушка тоже тихонько радовался, зная, что и завтра хорошо будет всем, легче станет во всех домах.

— Так, Ломовы, — поднимая голову от бумажки, проговорила тетка Катерина, щуря глаза в полумрак. — А где-то тут Семушка вроде был. Или убежал уже?

— Да здесь он, здесь, — отозвалась Варначиха и подтолкнула Семушку. — Чего прячешься? Иди, получай пай на семью.

Семушка вышел из своего угла и, не зная, как быть, сунул руки в карманы шубейки.

— Получай, Семен, твой черед, — поторопил его Колесин.

— А-а, куда ее... сыпать? — растерялся Семушка. — Я же не знал...

Колесин вытащил из шкапа большой холщевый мешок, в котором носили хлеб от развозки.

— Вот тебе тара. Завтра вернешь. А от соли мешку ничего не поделается. Хлеб да соль никогда не мешали друг другу...

Приняв мешок с приятной тяжестью, Семушка опять пробрался в угол и затих с ликующим сердчишком. Это же настоящая соль! Ее-то совсем мало оставалось в его берестяном туеске. А теперь он молотком растолчет эти комочки, разотрет до самой мелкости, и все-то хорошо у него получится...

Когда взвешивали остатки, на пай вышло еще по кило семьсот. Получив их, вслед за соседкой — теткой Варначихой — Семушка вышел под голубой лунный свет.

Гаврилы в тот вечер дома не было: до утра он заступил на дежурство по околотку. Семушка засыпал в печку ведро угля, вымыл руки, из шкапчика, где когда-то хранились материны лекарства, достал остаток своей иждивенческой нормы хлеба. Покрутил-покрутил его, подумал, что привезут-то хлеб только завтра вечером, но не удержался, отрезал кусочек. Ущипнув в глубине мешка щепотку соли помельче, посыпал хлеб и съел, часто запивая холодной водой. Принесенную соль он тут же пересыпал в большую чашку, поставил в угол и накрыл мешком.

Торопливо раздевшись, он забрался в постель. Хо-

тел книжку почитать, но Гаврила всегда ругался из-за керосина. Быстро посмотрев картинки, Семушка погасил лампу. Но ему не спалось, он ворочался, вздыхал под стареньким одеялом, и мысли его тянулись разнобойно — то о малых приятностях, то об огорчениях, которых хватало в его непонятной жизни рядом с Гаврилой.

Теперь Семушка лучше других видел то, о чем прежде ни говорить не хотел, ни слышать. Совсем заматерел Гаврила в нелюдимости и жадности. Семушка стыдился, когда отчим перемеривал надоенное им молоко, — боялся, как бы он не выпил лишнюю кружку... А сам в то молоко, что по налогу в колхоз сдавали, всегда воды подливал. С водой намораживал он молочных кружков, которое отвозил на базар в Узловую. Разбавленным молоком поил и танкистов, иногда заезжавших по дороге на полигон. Но не только тем был противен Гаврила. Перед военными становился он покорно-торопливым, вроде бы рад был приходу гостей. Выгибая спину горбом, приговаривал: «Счас, товарищи, счас... Для дорогих защитников нам не жалко...» А когда танкисты, заплатив, уходили, Гаврила смотрел им вслед тягучим, злым взглядом.

В такие дни до боли ненавидел Семушка отчима. Его щетину на скулах, пальцы с торчащими на них рыжими волосками и глаза — льдистые, что-то таящие в холодной своей глубине.

Семушка знал, что бабка Орлова, да и другие хозяйки с военных денег не брали. А к бабке танкисты заворачивали частенько: дом стариков ближе всех к дороге стоял. Вот и заезжали к старухе выпить по кружке парного молочка, а нет — хотя бы простокваши холодной, пусть и без хлебушка... Танкистам не густо жилось на тыловой норме. Бабка угощала их, чем могла, вздыхая и говоря, что, может, и ее сыночков кто-то так же покормит. Провожая гостей, она совала им то вареную кукурузу, то шляпки подсолнухов или огурцы. А если они заикались про деньги, она испуганно отмахивалась: «Осподь с вами, сыночки... Идите уж, идите». Но танкисты по-своему отблагодарили стариков. Двумя танками приволокли к дому кучу сухих деревьев, таких, что дед и не знал, как к ним подступиться. Брал пилу и вместе с Шуркой отпиливал пока крайние ветки.

Вздыхая под одеялом, Семушка позавидовал Шурке... Ему-то хорошо с такими стариками жить. В их доме деньги не прячут, когда они есть. А Гаврила, оставляя на хлеб, старательно пересчитывал бумажки, подгадывал так, чтоб вышло без сдачи.

— Как вода текут, — горбясь у стола, вздыхал он. — С двумя руками их много не заработаешь...

В такие минуты, глядя на вытянутое лицо отчима, одетого в латаный пиджачишко, Семушка чувствовал в нем непонятную обреченность, вызывавшую жалость. И детским своим сердечком все надеялся на добрые перемены, все ждал, что, может, встряхнется Гаврила, раскроются у него глаза на людей... И в этот вечер, уже засыпая, в самый последний момент Семушка вспомнил про чашку соли в углу у кровати и улыбнулся, будто задетый теплым лучом...

Гаврила пришел утром. Обычно он мрачно пожует картошку, придирчиво осматривая свою долю хлеба, потом покурит у печки, закутается в лохмотья и начинает храпеть. Но в этот раз, глянув на отчима, Семушка почувствовал в нем какую-то размороженность, даже довольство, скрытое под рыжей щетиной. И когда Гаврила сел есть, он поставил на стол чашку с солью:

— Вот... Нам дали!

Отчим быстро взглянул на Семушку, влез в чашку рукой, набрал горсть соли, пересыпал ее, спросил:

— И кто же это дал?

— Обчество, — неожиданно вспомнив слово, сказанное вчера мастером, ответил Семушка. — Ее как премию, бесплатно вырешали вчера. По шесть кило семьсот на пай получилось...

Гаврила хмыкнул, усмехнулся даже, чем немало удивил Семушку, и отодвинул чашку.

— Теперь ее потолочь надо, — растерянно сказал Семушка.

— Надо, — согласился Гаврила. И посоветовал: — Ты ее в тряпку заворачивай, когда будешь толочь. Чтоб не рассыпалась.

Потом замолчал, и, поев, завалился на кровать, зная, что все дела по хозяйству и дому будут выполнены исправно.

Проспав до обеда, Гаврила вдруг взялся налаживать сани, сделанные специально для перевозки угля, сена

и старых шпал на дрова. Укрепив колки и связки с полозьями, он начал ремонтировать и короб, сбитый по длине саней.

Копаясь, что-то приговаривал, вроде мурлыкал. Меняя Зорьке подстилку, Семушка затаился в сарае, прислушался и понял, что Гаврила поет. Он даже слова разобрал: «Любо, братцы, любо... Любо, братцы, жить... С нашим атаманом не приходится тужить...». Пораженный Семушка даже к стене прислонился, не зная что и подумать.

Уже под вечер сходил он на озеро, к проруби, напоил Зорьку и затопил в доме печь. Скоро зашел в дом Гаврила. Не зажигая огня, покурил у печки и, опять выходя, приказал:

— Собирайся!

Не приученный спрашивать, Семушка натянул шубейку, достал с припечка варежки и вышел на улицу.

Во дворе отчим молчком ухватил вожжевую веревку и потащил сани по тропинке к линии, рядом с которой тянулась наезженная конная дорога.

Солнце уже давно скрылось за Узловой, на смену ему из-за сопок поднималась луна. Было морозно, скрипел под ногами снег, но воздух оставался чистым, и все искрилось, переливалось в голубом свете.

Упираясь руками в заднюю стенку ящика, Семушка подталкивал сани, не зная, зачем они тащатся к выемке в это позднее время.

Огибая сопку, дорога отходила от выемки, а к линии в этом месте была протоптана тропа. На нее и свернул Гаврила. Они приналегли на сани, по откосу подняли их наверх и по краю насыпи двинулись к месту крушения.

Гаврила остановился около остатков платформ и вагонов, собранных в кучу и, захватив из короба штыковую лопату, уверенно двинулся вдоль кювета, до краев засыпанного утоптанным снегом. Отчим будто крался к чему-то, всматриваясь в снег. Увидев торчащую бурьянину, он потянул ее, легко вытащил из снега и в этом месте начал копать. Скоро лопата ударилась обо что-то твердое, и тут же Гаврила стал выворачивать из кювета большие белые комья, похожие на головы снеговиков. Ухватив один из них, он понес его к саням, приказав на ходу Семушке:

— Таскай в сани!

Только подняв один кусок, Семушка понял, что в руках у него соль. «Гляди-ка! — дивился он, таская комья в сани. — Какие большие... И как же эта соль оказалась в канаве? Как она под снег попала? Да и кто сказал про нее Гавриле?..»

Скоро комьев набралось вровень с краями ящика. Гаврила пересчитал их, шагнул было опять к кювету, но тут в глубине выемки замерцал огонек фонаря: шел путевой обходчик. Схватив лопату, отчим заторопился к саням. Падая грудью на веревку, натянул ее, но сани не сдвинулись. Гаврила уперся сильнее, прохрипел: «Толкай, Семка!» и снова дернул веревку. Семушка тоже навалился на ящик, и полозья заскрипели по снегу.

Своим следом они по насыпи добрались до тропы, придерживая сани, спустили их с линии и кое-как через глубокий снег выбрались на дорогу. Тут Гаврила остановился перекурить. Свернул самокрутку, постучал кресалом о кремень, раздул в фитиле огонек, прикурил и выпустил густой клуб дыма, перемешанного с паром. Семушка помолчал-помолчал, но не сдержал любопытства:

— А... ты как же узнал про нее?

Гаврила даже не повернулся к нему, глядел вперед, на дома полустанка. Семушка уже подумал, что ответа ему не дождаться, но отчим вдруг заговорил наставительно:

— Всегда, Семка, нужно голову при себе иметь. Кха-а, узнал, говоришь? Как же не знать, ежели я сам ее в ту яму уклал. Да было б у меня сала поболе, я бы за то дежурство полплатформы под снегом мог схоронить. Солдат ноне тоже голодный ходит...

Семушка, еще толком ничего не поняв, спросил:

— У нас сала вроде бы нет?..

— Х-хы, сало! Сало кой у кого ишшо имеется. Только деньги плати. Вот и я заплатил, а теперь еще поболее деньжат возьму. Это дело не по твоей башке. Это коммерция называется...

Гаврила покурил и опять заговорил благодушно:

— Делом, Семка, надо уметь вертеть. Вот она — соль-матушка. В другой раз — пустяковина, а по нонешнему времени — ого! Человек же привык жрать все соленое. Без соли у него кость слабнет. А где ее взять,

ежели и в Узловой нету? Обедал я там в деповской столовой, где локомотивные бригады харчуются. Машинисты, вон, на особом пайке живут, а соль, видел я, с собой в бумажке носят, чтобы в суп добавлять... А тут вот она — бери, покупай.

— Как... покупай?

— За деньги, Семка, за деньги. Я ж не дурак задарма добро отдавать. Раз мешок свезу, другой. Деньжат дадут, а еще и талонов на суп. Глядишь, и каклетов отломится...

Гаврила хохотнул, поднялся, закидывая веревку на плечо, и сильно потянул сани. Семушка опять понуро уперся в заднюю доску короба. После остановки он заметил, что мороз опять покрепчал, будто на свет луны озлобился. Но еще пуще изнутри холод поднимался. Как бы со стороны увидел Семушка самого себя — согнувшимся за коробом, с руками, далеко высунутыми из коротких рукавов, подталкивающего сани с ворованной солью, которую Гаврила хочет продать и потом обжираться котлетами в деповской столовой. Вон сколько нагреб, проклятый! Что против этого ящика та доля, что им вчера выделили...

И плохо же стало ему, как было при больном зубе, который донимал его летом. Тогда Петька Варнаков взял у матери щепотку соли, мелко-мелко растолок ее и присыпал зуб.

Вспомнив про Петьку, Семушка со страхом вдруг подумал, что этот проныра может пронюхать про соль. А от него уж все узнают. Ребята само-собой. И мастер Сергей Петрович узнает, Куприян Колесин, тетка Катерина со станции... К кому он тогда в дом сможет зайти? Не станут дружить с ним ни казарменские, ни станционные ребята...

Они уже добрались до сворота к дому. И тут Семушка убрал руки с ящика, распрямился. Отчим протащил сани по узкой тропе, из-за чего то один, то другой полоз проваливался в рыхлый снег, и, не чувствуя подмоги, тоже остановился.

— Чего встал?

Семушка поднял голову, посмотрел на Гаврилу:

— А ты... куда ее повезешь?

Он хотел спросить по-другому, прямее, но не решился. Гаврила же, удивленный, даже плечом передернул.

— Как куда? Домой.

— Вчера соль в красном уголке поделили... — проговорил Семушка. — Ну, взял бы немного, а куда еще жадничать?..

Он думал, что отчим начнет ругаться, но тот вскинул веревку на плечо, и полозья заскрипели опять. Семушка посмотрел ему вслед и пошел по дорожке к линии. И вдруг услыхал за спиной:

— Ты куда?

Семушка остановился, через плечо глянул на отчима.

— На станцию.

— Чего делать?

— Ночевать там буду... Там стану жить.

Эти слова, оказывается, давно просились наружу. Высказав их, Семушка почувствовал облегчение, распрямился и вроде бы стал ростом повыше. Но не успел он сделать и пяти шагов, как что-то темное метнулось за ним, крепкие пальцы схватили воротник старой шубейки, рванули назад и рядом, совсем близко, Семушка увидел глаза отчима — злые, притаенные.

— Про соль пикнешь — задавлю! — пригрозил Гаврила. — И с мамашей в землю устрою! Понял?

Семушка дернулся и, не скрывая ненависти, взглянул Гавриле прямо в глаза. Это, видно, охладило осатаневшего отчима. Он не ударил Семушку, только прохрипел, выпуская воротник:

— Понял, об чем сказал?

Он вроде бы только теперь увидел, что Семушка за эти годы подрос, а непомерная работа, которую он валил на мальчишку, укрепила, раздала его плечи. И во взгляде мальчишки пробудилось уж взрослое упрямство.

— Не дури, Семка, — с приглушенной угрозой заговорил отчим. — Не дури. Я, знаешь, нипочем не остановлюсь...

— Отдай соль! — потребовал Семушка. — Отдай! Я все равно расскажу...

Он не договорил. Тяжелые руки Гаврилы пригнули его, свалили в снег. Пальцы с рыжими волосами стали перебираться к шее. Озираясь по сторонам, Гаврила зло всхрапывал:

— Пор-рода проклятущая!.. Задавлю тебя, выродка! Только жизню губить людям можете...

Семушка ухватился за руку отчима, как-то оторвал

ее от себя, вцепился в пальцы зубами и изо всей силы сдавил их до хруста. Гаврила вскрикнул, дернулся. Семушка ударил его ногой в плечо, опрокинул и вскочил.

Убегая, краем глаза он видел тень бегущего за ним Гаврилы и, понимая, что тот сильней и быстрее, рассчитав, упал, сжавшись в комок. Отчим перелетел через него, лицом и руками сунулся в снег. А Семушка уже был на линии, рядом со станцией, окна которой звали его своим светом.

На станцию прибежал он в самый час пересменки. Нинка-холостячка сдавала дежурство Калиткину. Тот проверял журналы и расписывался. А на деревянном диване у стены, ожидая смены, покуривали Слободкин и Варнаков-старший.

Не обращая внимания на дежурных, Семушка пробежал к дальней стене и повернулся к двери со сжатыми кулаками. Но оттуда никто не появлялся. Ослабнув вдруг под встревоженными взглядами взрослых, Семушка всхлипнул и опустился на корточки, закрывая окровавленное лицо руками.

— Ты чего это, парень? — подивился Калиткин. — Подрался с кем, что ли?

Семушка не отвечал, давясь слезами. Мужики и Нинка поняли, что случилось что-то серьезное.

— Он... п-паразит, убить... меня хотел, — взахлеб проговорил, наконец, Семушка. — И соль... Вон сколько соли... украл...

— Ты постой, Семен. — Калиткин заволновался. — Говори-ка толком давай. Соль, убивство какое-то... Скажи, кто тебя так помял?

Нинка отодвинула Калиткина в сторону, присела, полотенцем обтерла Семушке лицо. Малость успокоясь, он стал рассказывать про соль и сало, про то, как отчим обещал устроить его в могилу с матерью рядом.

Слушая, мужики курили, часто затягиваясь, может, в тот момент во всей полноте представляя горе мальчишки, жизнь которого хорошо знали и в которую ранее не решались вмешаться... Они и теперь переглянулись растерянно, а Нинка потянула Семушку за руку:

— Давай-ка, горемыка, ко мне. Домой тебе нельзя идти.

Семушка заупрямился, говоря, что он и тут, хоть в станции, хоть в кассовой комнате переночевать может.

Но ему объяснили, что такое никому не положено. А Нинка тянула его за собой, улыбалась по-бабьи добро, как когда-то улыбалась и смотрела на Семушку мать. И он сдался, пошел к ней в небольшую, аккуратно прибранную комнату. Накормленный с хлебом, уложенный на стульях у теплой печки, Семушка после всего пережитого скоро забылся в неровном сне.

Калиткин тем временем вызвал мастера Шарапова, рассказал ему все. Они позвонили в Узловую, и скоро на полустанок приехал следователь из милиции. Взяв мужиков в понятые, он сразу отправился к Ломову.

Гаврила им долго не открывал, но потом все же впустил. Следователь велел ему сидеть смирно, и начал обыск. У сарая под сеном нашли соль, уже разложенную по мешкам. Их перенесли в дом, составили у стены. Гаврила смотрел на все вроде бы безучастно. Следователь начал писать протокол, но, отложив ручку, задумчиво посмотрел на Гаврилу и неожиданно велел Слободкину открыть крышку подполья. Ничего не понимая, тот склонился к скобе, и тут на него бросился разъяренный Гаврила.

— Не трожь! — дико заорал он. — Не трожь, гады!

Следователь будто ждал этого. Вскочив с табуретки, он подставил Гавриле ногу и свалил его на пол, ловко вывернув руку. Тут уж и Слободкин с мастером помогать стали.

Гаврилу связали и опять усадили на кровать. Слободкин спустился в подполье, осмотрел его, чиркая спичкой.

— Тут, понимаешь, земля свежая взрыта... — сообщил он наверх. — Ага, а вот банка какая-то в картошке... Вот и еще...

Гаврила глухо застонал, скрипнув зубами. Следователь принял от Слободкина банки, открыл одну, и на стол посыпались деньги.

— Ну вот, теперь понятно, — усмехнулся следователь. — А то я думаю, чего он нас в полушубке встречает. И крышка подполья потревожена, а на полушубке паутина... Уйти хотели, Ломов?

Гаврила со злобой посмотрел на всех, но, ничего не ответив, опустил голову.

Из другой банки на пол посыпались золотые моне-

ты, кольца, брошки, цепочки... Они тускло блестели и казались какими-то ненастоящими на некрашеном столе, среди голых стен, рядом с кроватями под темным рваньем. Глядя на деньги, на золото, мужики, каждый по-своему, подумали о своем житье, о займах для фронта, которому отдавали последнее, о покойной матери Семушки и с удивлением, как на непонятное чудо, косились на Ломова, который вечно ходил оборванный, грязный...

Когда пересчитали деньги и драгоценности, следователь дал мужикам расписаться в протоколе, спрятал бумаги в папку и подошел к Гавриле.

— Что ж, граф Монте-Кристо... Вы арестованы, Ломов, за укрывательство ценностей, за хищение соли и за попытку убийства мальчика. Будем выяснять, что там еще за вами...

Той же ночью Гаврилу увезли в Узловую.

Обо всем этом Семушка узнал утром. И долго сидел молча, крепко сжав зубы.

Неделю еще прожил он у Нинки на станции. А потом, вместе со Слободкиным сдав Зорьку в колхозное стадо, собрал нехитрые свои пожитки и уехал в Узловую, в районную школу-интернат.

КОНФУЗ

В школу Домка-уборщица пришла, как всегда, к последнему уроку. Отдала Нине Васильевне свежую газету, засветила лампу и молчком потеснила Карлушку, каким-то чудом прилепившись рядом с нею за партой, выставив в проход ноги в больших солдатских сапогах. Подперев лицо рукой и напряженно глядя на Нину Васильевну, Домка выслушала сводку Совинформбюро, вести с фронтов, но, опять ничего не услышав о пропавшем без вести муже, вышла из класса. Ребятишки слышали за дверью тяжелые шаги, стук поленьев: Домка сваливала их в коридоре, чтобы завтра поутру, еще в темноте, растопить печки.

В этот раз вместе с Домкой с особым вниманием слушал Нину Васильевну и Шурка Орлов. Очень занимали его дела на фронте. Ведь там, уже дальше Украины, сражался Шуркин дядька Клим, артиллерист... Говорилось в газете о боях и в Прибалтике. А на самой-то Балтике воевал другой его дядька — Виктор. Прав-

да, теперь он в госпитале после ранения, но вскоре обещался приехать домой на побывку.

Вспомнив об этом, Шурка уже плохо слушал Нину Васильевну. Он представлял, как встретится с дядькой, который, наверно, привезет ему бескозырку да еще и гостинцев, поди. А тут уж и третья четверть подходит к концу, подступают каникулы, солнышко светит все ярче...

Нина Васильевна отнесла газету в учительскую — маленькую комнатку на одно окно, где стоял шкаф с книжками и большой исцарапанный глобус. А вышла, к удивлению всех, уже одетая в старенькое пальто.

— Ребята из первого класса могут идти домой, а третьеклассники останутся. С вами побеседует один товарищ. Он вот-вот подойдет. Я ухожу в правление колхоза, а вы пока почитайте из заданного на завтра. И ведите себя тихо. Особенно это касается Варнакова и тебя, Будыкин...

Рыжий Петька переглянулся с Митяем. Первачки захлопали крышками парт, закопошились у вешалки. Третьеклассники, робея перед неизвестным товарищем, который собирался с ними беседовать, сидели на местах. Поднялся только Петька Варнаков — он закутал в материн платок маленькую сестренку Зойку.

Едва Петька сел на свое место, отворилась дверь и в класс вошел Андрюха Хованкин. Он потоптался у порога, стянул с головы шапку и сказал:

— Здравствуйте, товарищи...

Все знали Андрюху, он был отличником, как и Ваня Колесин, а еще помогал отцу — конюху Серафиму — ладить колхозные сани и телеги, конскую сбрую. Учился он в четвертом классе и ходил в первую смену. От его неурочного появления, а пуще всего от этого «Здравствуйте, товарищи» даже у Митяя Будыкина рот приоткрылся. А Петька Варнаков и дышать перестал: он-то видел, что еще днем, в пересменку, Андрюха был с лохматым чубом, а сейчас ровно, под машинку подстрижен.

Митяй шевельнулся первым и вытянул из-под парты длинные ноги.

— Ты че приплелся? Или забыл чего?

Андрюха прошел к столу Нины Васильевны и сообщил:

— Я проведу с вами сбор. Вы сейчас октябрята, а в конце четверти будете вступать в пионеры. Тогда у нас в школе станет отряд и я буду у вас вожатым...

— А по шее не хочешь? — поинтересовался Митяй.

— Ты сиди, пенек! — громче заговорил Андрюха. — Будет у нас организация. Пионерская! И будем мы во всем помогать взрослым и фронту. Собирать, вот, металлический лом...

Тут уж и Петька Варнаков встрял:

— А ломы деревянные не бывают.

— Ни черта ты, Петька, не понимаешь, — осадил его Андрюха. — Металлический лом — это не тот, которым ты на озере лед долбишь. У кузницы кусок гусеницы от трактора видел? Старые, сломанные колеса от сенокосилок видели? Вот то и есть металлический лом. Его собирают, отвозят на завод, а там переплавляют и наделывают потом пушек, танков, автоматов или снарядов. Понятно?

Андрюха просто оглушил всех своей башковитостью, и третьеклассники молчали.

— А для колхоза будем собирать золу и куриный помет, — добавил Андрюха.

— Чего-чего? — не понял Демка Пронов.

Андрюха объяснил все по простому, и тут уж класс развеселился вовсю.

— Балды вы, потому и смеетесь, — разозлился Андрюха. — Помет и зола — хорошее удобрение. Его рассыпают по земле, и тогда на ней хорошо растут огурцы, помидоры и еще, может, капуста... Так что завтра всем принести по ведру помета. И потом будете каждый день приносить.

— Ха, приносить! — подпрыгнул Петька Варнаков. — А у нас и куриц-то ни одной нету!

— У кого нету — по соседям идите. А ты, Петька, припарись к Шурке Орлову, — посоветовал Андрей. — У него дед с бабкой всегда куриц держали. Есть куры, Шурк?

Шурка вспомнил пеструшек с хромоногим петушком, сбереженных бабкой, кивнул.

— Вот и будет чего вам нести.

Петька промолчал, обдумывая нежданную повинность, а Карлушка, робко молчавшая, как все девчонки, спросила:

— А жолы тоже по ведру приносить?

— От разъездовских золы вообще не потребуется, — объявил Андрюха. — Вы ж топите печки углем, от него зола на удобрения не годится. Золу собирать будем только от деревенских дворов.

— То правильно, — рассудительно заметил Митяй. — Деревенцам и до школы ближе ходить, им по два ведра золы таскать можно.

— Ты сиди, грамотей! — окрысился на Митяя Демка. — По два ведра... Умник нашелся!

Начали было спорить, но будущий вожатый оглядел всех строго и предупредил:

— Кто не будет собирать золу и помет, того не примут в пионеры. И тот не получит такого вот галстука.

Тут Андрюха развернул на столе небольшой пакет, и все увидели отглаженный красный галстук, перехваченный блестящим зажимом с изображением горящего костра.

Такой галстук с зажимом хотелось иметь каждому, и на другой день во многих дворах и сараюшках столбом поднималась пыль. Ребятишки добывали золу и помет, ради чего тревожили обросшие бурьяном и лебедою кучи на окраинах огородов, распугивая кур, копошились под насестами. И Петька с Шуркой в этот день шли в школу с двумя ведрами удобрений на длинной палке. Добывая его, они разворотили многолетние залежи под куриным шестком, добрались бы до самого пола, но из курятника их вытурил Шуркин дед.

А еще через пару дней Андрей повел всех на сбор металлолома. Сперва стаскивали к школе все, что находили возле дороги, в кюветах, потом передвинулись к машинному двору, к колхозной кузнице. Пособирали и здесь мелкие железяки, а там Митяй взял да и покатил к школе справное колесо от сеялки. По его примеру Демка и Петька Варнаков потащили было боронку, но их заметил пожилой тракторист, зашумел, и они побросали свои трофеи.

Подготовка в пионеры шла хорошо. Железяк у крыльца школы собиралось все больше, под стеной росла куча из золы и помета. А Андрюха-вожатый не унимался:

— Завтра будем тимуровцами, — объявил он. — Всем из четвертого и третьего класса быть на зерновом,

на сортировке, а разъездовские — Петька, Митяй и Шурка Орлов — пойдут помогать деду Колотилкину. У него сын, танкист, погиб на войне, а сам дед хворает.

— А что нам у него делать? — спросил Митяй.

— Мало ли чего... Может, воды натаскаете, может, дров напилите, сено у стайки приберете. Поглядите, словом, что там. Ты, Петька, назначаешься командиром звена.

Петька аж засветился. Шурка посмотрел на него с завистью, а на Андрюху — с обидой. Почему не его командиром назначил? Учится Шурка получше Варнака, железяк больше его принес, а Петька и помет набирал у них в сараюшке.

Но завидовал Шурка недолго. Пусть уж Петька чуть покомандует — он ведь сосед и приятель. Да и нельзя ж всем командирами быть.

К деду Колотилкину отправились на другой день после уроков. Увидев во дворе боевую троицу во главе с Петькой-командиром, дед растерялся, а когда уяснил что к чему, успокоился и хотел отправить тимуровцев обратно, но они потребовали работы, и дед сдался. Показал чурбаки, которые нужно было поколоть, и велел сносить поленья в летнюю кухоньку: зимой ее не протапливали ради экономии дров.

Петька сунул Митяю Будыкину колун, а сам вместе с Шуркой взялся подкатывать чурбаки и носить наколотые дрова в кухню.

Работалось хорошо, но тут Шурка стал замечать, что Петька дольше него возится в кухоньке и губы у него с чего-то посинели. Может, замерз? Но с чего бы ему мерзнуть, если март на дворе и солнышко по-доброму греет?

Шурка пошел с охапкой дров в кухню и тут увидел, как Петька запустил руку в литровую банку с голубичным вареньем и стал облизывать пальцы.

— Ты зачем это? — ужаснулся Шурка. — Как же ты... Тимуровец, а сам варенье чужое лопаешь?

— Я же чуть-чуть, — отмахнулся Петька. — И ты спробуй. Сладкое...

Тут и Митяй вошел. В одной руке он держал колун, а другую без раздумья запустил в варенье. Шурка смотрел-смотрел на них, сглатывая слюни, и не утерпел, тоже сунулся рукой в банку. Потом еще разок, и еще...

Варенье убывало заметно. Спохватясь, Петька закрыл банку бумажкой, обвязал тряпочкой и поставил на место — в уголок за печкой. Тут же он выкатился за дверь, чтоб доложить деду об окончании работы.

Дед остался доволен помощниками, похвалил их и дал напоследок по горсти тыквенных семечек. Возвращаясь домой, Петька сорил по дорожке шелухой, а Шурку и семечки не радовали. Чем дальше отходил он от двора деда, тем хуже становилось на душе. Шурка еще там, у калитки, представил вдруг, как бабка пойдет в кухоньку за вареньем, увидит полупустую банку, удивится и начнет гадать, кто так помог ей поуправиться. И ну и вспомнит, кто у них во дворе был, работал. Ага, скажет, тимуровцы... А Колотилиха с его бабкой дружит, значит обязательно до их дома дойдет. А если к тому времени дядька Виктор приедет да узнает, какой из его племянника Шурки получился пионер?..

Но все уже сделано, обратно не повернешь. И Шурка, косясь на беззаботного Петьку, пытался утешить себя тем, что, может, бабка до лета и не спохватится.

Уже перед самыми каникулами в школе была назначена торжественная линейка. Вожатый Андрей, Ваня Колесин, Шурка, Петька, другие ребята и даже Митяй-второгодник должны были давать пионерскую клятву и получать галстуки. Посмотреть на такое собрались все ученики, пришла и Домка-уборщица, как всегда, туго затянутая темным платком. Нина Васильевна надела нарядное платье с вышивкой по белому вороту. Пришкандыбал в школу и председатель колхоза Фрол Чеботаров, в суконном пиджаке и с наградами. Тут-то Шурка подивился, как много у Фрола орденов и медалей.

Председатель развернул бумажный пакет, в нем оказались галстуки, наглаженные и подрубленные по краям, из бордово-красной материи. Такого цвета была скатерть, которой раньше накрывали к собраниям стол в правлении колхоза. Но после разговора с учительницей Чеботаров решил, что собрание можно провести и без скатерти.

— Жаль вот, зажимов достать не удалось, — вздохнул председатель, но тут же улыбнулся: — Ничего, на первый раз и так будет ладно...

Старшие ребята построились у доски, а младшие глазели на них с завистью и уважением. Председатель сказал, что школьники хорошо помогали колхозу на сборе колосков, заготовили вот удобрения, потрудились и как тимуровцы.

— Теперь, после клятвы, вы оденете красные галстуки. Берегите их, — говорил председатель. — Красный галстук не велик, но носить его на груди — большой почет, но также и большая ответственность...

Говорил он еще о пионерской честности, правдивости и смелости, не зная, что с каждым его словом все хуже становится Шурке Орлову. На лбу у него даже пот выступил. Опять вспомнились кухонька деда Колотилкина, проклятая банка... Шурка покосился на Митяя, на Петьку, но те стояли строгие, с выпученными глазами.

А голосистого Петьку Нина Васильевна даже вывела из строя и дала ему лист бумаги.

— Сейчас Петя Варнаков будет зачитывать пионерскую клятву, — объяснила она, — а вы за ним повторяйте ее...

Петька набрал в грудь воздуха, раздул щеки и, заглядывая в лист, громко закричал:

— Я, юный пионер Советского Союза...

Ребята помолчали, ожидая, кто первым повторит эти слова.

И тут Шурка, неожиданно для самого себя и вроде б негромко, но слышно для всех, проговорил:

— Не буду я за ним повторять...

Нина Васильевна, и председатель, и ребята посмотрели на него с недоумением.

— Ты что, Орлов? — спросила учительница. — Почему?

Шурка опустил голову и едва слышно проговорил:

— Я в варенье палец совал...

Петька часто-часто заморгал, и его курносое лицо стало совсем маленьким, а Митяй опустил голову и заводил глазами по половицам.

Шурка тоже стоял с опущенной головой и глухо бубнил:

— Я у Колотилкиных варенье лизал... А в клятве говорено, что нужно быть честным, плохого не делать, чтобы без поступков плохих...

Нина Васильевна потребовала, чтоб он все понятно рассказал.

За Шуркой стали признаваться и Митяй, и Петька. Только Петька сказал, что всего два раза в банку совался.

— Ну, братцы! — нахмурился председатель. — Конфуз получается, товарищи пионеры... Вот так тимуровцы, а?

И замолчал, не зная, как дальше-то быть. И Нина Васильевна не знала. Председатель переступил по полу деревяшкой, полюбопытствовал:

— И много вы его там... умяли?

— Полбанки... — сказал Шурка.

— Да-а, — вздохнул председатель. — Как же нам теперь быть-то?

— Я думаю так, — строго заговорила Нина Васильевна. — Кто провинился, пусть тот просит прощения у дедушки с бабушкой... Ты, Варнаков, и ты, Будыкин, сейчас же идите к Колотилкиным и расскажите все. А потом посмотрим, продолжать нам ваш прием в пионеры или отложить до лучших времен.

Нахлобучив шапки, Митяй и Петька поплелись за дверь, а Нина Васильевна стала говорить, как нехорошо быть нечестным, хвалила готового разреветься Шурку, который сам честно признался и значит из него может вырасти настоящий человек, потому что настоящим становится тот, кто умеет самого себя побороть.

Потом стал говорить председатель, но тут отворилась дверь, и все увидели сияющую физиономию Митяя, а за Митяем и Петьку со злополучной банкой в руках.

— Во! — ставя банку на стол, объявил Петька. — Дед и не сердился, а это насовсем нам отдал!

Председатель взглянул на Нину Васильевну, хмыкнул и отвернулся к окну. Учительница тоже отвернулась к полочке с книжками, закрывая лицо концами платка.

Когда ее плечи перестали вздрагивать, она велела всем строиться снова. Теперь уже Шурка зачитывал слова клятвы, а ребята повторяли ее дружно и голосисто.

Потом председатель вручил каждому по галстуку, и Нина Васильевна повязала их Андрюхе-вожатому,

Шурке, Митяю, Петьке Варнакову, Ване Колесину...

— Теперь вы пионеры, — сказал председатель. — Поздравляю вас от лица фронтовиков и думаю, что вы будете хорошими ребятами и работниками. — Он помолчал, переступил и добавил: — И чтоб впредь без конфузов...

Вслед за председателем, Домкой и Ниной Васильевной малышня стала хлопать в ладошки. А потом Нина Васильевна принесла из учительской комнатки ложку, и ребятишки стали по очереди доставать варенье из банки. И никому тут не было обидно, никто не злился на Шурку, который сумел сказать правду...

БОТИНКИ

Апрельское тепло после долгой зимы — настоящая радость. Снеговые ручьи отжурчали, нагретая земля подсыхает, небо голубеет ярче. В саду деда Орлова муравьи на верхушку своего домика вылезли, чтобы от солнышка силы и живости понабраться. Воробьи поотмыли копоть, собранную у печных труб, и стали шумливы, как торговки с картошкой в Узловой на перронке. А над землей и полустанком под самыми облаками с гоготаньем потянулись клинья гусей.

Дед Помиралка говорит, что дикие гуси просто так не полетят. Они, мол, знают, когда будет тепло. И, глядя на табуны, сам засобирался уже скидывать стеганые, не раз латанные штаны, до блеска затертые на заду и коленках.

И вдруг ночью опять все белой крупкой присыпало, лужи закрылись ледяным стеклом, и из-за сопок дохнуло холодом. А к обеду ветер вовсю загудел...

Хуже всех тому, кто в такую вот пропастную погоду обязан работать. Железная дорога не спит ни днем,

ни ночью. И вот, как всегда, шли на околоток путевые обходчики, а на дежурство по станции заступила новоселка Чердымова, которую все уже звали просто Чердымихой. Еще при закате, сгибаясь встреч ветру, вместе с восьмилетним Славкой разнесла она к семафорам большие фонари со вставленными внутри керосиновыми лампами. Гореть им полагалось всю ночь, до рассветной поры, пока машинисты паровозов не смогут издали разглядеть рычаги семафоров. Ни боже мой, нельзя, чтоб до срока погас свет в фонаре, посаженном в специальное гнездо и поднятом на самый верх семафора.

Нельзя-то — нельзя, но в такую ночь и с полной заправкой могло через продушины в крышках фонарей захлестнуть огонек; могло расшатать, сорвать и само гнездо со щитками из железа и разноцветных стекол. А потом попробуй исправить дело. До дальнего семафора, что у переезда стоит, от станции полкилометра бежать...

Уже второй час пошел, как заступила Чердымиха. Много поездов проводила, а к столу и не присела еще. С тревогой поглядывала на темные окна. Не забывается, ох да и не забудется никогда то недавнее крушение...

Проводив очередной поезд, она позвонила на соседние станции, доложила про обстановку диспетчеру. Хотела посидеть немного, но тут за стеной взвыло сильней, и Чердымиха шагнула к порогу. Налегая всем телом на дверь, выдавила ее в распираемый ветром коридор и вышла. Глянула прежде на дальний семафор, потом уж на ближний, в ста метрах от станции. Слава богу, светят, милые!

За линией, где дома Варнаков, деда Орлова и еще дальше — в деревне, — ни огонечка. Даже самой станции не видно, хотя она рядом, и там в комнате спят сейчас ее Славка и Люся с Любашей. Славка, конечно, пристроился на лавке у печки, а девчонки разметались на широкой кровати. Хорошо, что там тихо, тепло. А тут — холод и чернота, будто и нет ничего на свете, даже самой России с бедой на другом ее конце, с войной, из-за которой и там, и тут люди страдают, а только эти зеленые живые огоньки для поездов, пока скрытых неведомой далью, но бегущих сюда.

Еще раз глянув на дальний семафор, Чердымиха

задержалась чуток, повернув голову в сторону казармы. Почудилось, что около гаража, вроде бы, отсвечивается белое пятно.

Гаражом называлось помещение, где путейцы хранили четырехколесный вагончик для перевозки шпал и больших грузов, мадароны, ломы, молотки, сигнальные знаки — все нужное при ремонте пути. Еще мужики соорудили к гаражу пристройку на три окна. Сложили там печь, оштукатурили и побелили стены. Повесили плакаты по технике безопасности, поставили стол и шкаф с книгами. Получился свой красный уголок. Сюда сходились по праздникам на торжественный доклад мастера. Тут же проводили собрания и слушали лектора, случаем заброшенного на полустанок.

С войной красный уголок большую часть времени пустовал. Скамейки сдвинули к дальней стенке, в книжном шкафу держали теперь весы и гирьки. Через день, когда с местным поездом приходила хлеборазвозка, сюда сносили тяжелые черные булки и здесь их резали, отпуская хлеб по карточкам. А вечерами в холодную пристройку давно уже никто не ходил. Откуда же взяться там свету? Чудится, может?..

Но красный уголок в тот вечер не пустовал. На краешке стола светила плоская лампа из путейского фонаря. На скамье сидел дорожный мастер Шарапов, сутулый, седой и скуластый, как коренной забайкальский гуран. На смуглом лице его выделялись серые глаза — быстрые, все видящие, понимающие и потому, наверно, особенно усталые.

Поодаль от него примостился движенец Калиткин, который замещал начальника станции, — тот опять слег в больницу.

Между мастером и Калиткиным стояла баночка с махрой, тут же лежала газета, сложенная в размер самокрутки. Калиткин беспрерывно смолил и, блаженствуя, даже шапку снял, не глядя на холод.

У порога пристроился на корточках путевой обходчик Яков Слободкин, в лохматой шапке из собачьей шкуры. Густая щетина покрывала его крупное лицо, темное после многих лет работы, одинаково нелегкой и в летнюю жару, и в зимние морозы. Он снизу поглядывал на лампу, раздумывая, подниматься или нет,

чтоб поправить фитиль. Язычок пламени тянулся вверх косо, откладывая на стекло полосу копоти.

Собрались мужики еще в сумерках, теперь время перевалило на поздний вечер, а они все сидели, устало роняя слова, задумываясь и изредка поглядывая на картонную коробку, лежавшую на столе. В коробке тускло поблескивали новенькие черные ботинки с кожаной подошвой и отстроченным рантом.

Прибыли они с хлеборазвозкой. По праздникам с нею передавали подарки для детей железнодорожников — пряники, карамельки-подушечки и немного шоколада. Конфеты и пряники присылали в коробках, по весу на общее число детей. А уж на месте подарки делили по семьям и раскладывали в заранее собранные мешочки. Дележ всегда поручался высшей тройке, в которую от путейцев входил мастер Шарапов, от движенцев — начальник станции, а от профсоюза — Слободкин.

Затем и собрались они в этот ненастный вечер — делить подарки к майскому празднику. С пряниками да конфетами порешили легко: на каждый мешочек пришлось по два с половиной пряника да конфет на пятидесятиграммовую гирьку с тремя пятаками. Да шоколада по четыре плиточных клетки. Разложили сладости по мешочкам, убрали их и закурили, задумавшись, что ж делать с еще одним подарком — ботинками. Их-то, присланных бесплатно от наркома путей сообщения, была всего одна пара. Как же ее разделить, эту пару, — чтоб по высшей справедливости было и обиду никто не таил?..

Мастер Шарапов в который раз вгляделся в список жителей полустанка, негромко спросил:

— Может, Варнаковым отдадим? — Он посмотрел на Калиткина, на Слободкина и стал загибать пальцы. — Тут же смотри... Ну, Амоса сбросим со счета, он в фэжэушку поступать собирается. Остаются Петька, Юрка, Зинка, Зойка. И еще, гляжу, вот-вот у них пополнение будет...

— А ты что, Петрович, пополнение тоже уже считаешь? — усмехнулся Калиткин.

Слободкин заметил:

— Берите и то в расчет, что у них во главе семьи двое. Сам карточку имеет, сама имеет и на иждивен-

цев на каждого есть. Вон, Катерина Чалова совсем одна мается.

Калиткин негромко возразил:

— Дак у нее ж малых только двое.

Опять замолчали, косясь на коробку. Да, непросто. Все-таки ботинки. В такое-то время...

Шарапов, сворачивая которую уже цигарку, мысленно обходил квартиры своих путейцев с казармы, начиная со старого дома, который рядом с переездом стоит. Два его крыльца смотрят на деревню, два — на южную сторону, на полигон. Одну квартиру занимает орава Слободкина Якова, другую — Будыкины, а за стеною от них, с обратной стороны дома, жили Куприян Колесин и совсем молодая пара, еще и без ребеночка даже.

Самая многодетная в старом доме — семья Слободкина: у Якова пятеро молодцов толстопятых. Как-то, проходя мимо дома еще в марте, по оттепели, видел мастер, как младший Слободкин босиком чесал к крылечку Колесиных по свежему снегу...

Второй дом, в котором мастер сам жил, был побольше первого. Перебирая соседей, Сергей Петрович выделил бригадира пути Конопленкина — отца трех девок. Пропуская бездетного казаха Айзупарова, он и в свою квартиру заглянул. У него сын Юрка в расквашенных сапогах ходит, дочь Варька тряпичные бурки донашивает. Но Варька из наркомовских подарков выросла, — невеста, уже и сама вон работает, письма людям разносит. А Юрке на лето можно кой-чего из старья подлатать.

Вспомнил мастер еще про один дом на казарме и нахмурился.

Барак этот называли «особняком», — он стоял в стороне от других путейских домов, почти между казармой и станцией. Низкий — окнами в бурьян — и длинный, будто через путевую трубу протянут. Стены потемнели от времени, из-под штукатурки торчала дранка. Упади он — никто не удивится. Строили его еще когда прокладывали вторые пути на Транссибирской дороге, — на скорую руку, как всякое временное жилье. Собирались на том месте новый дом ставить, но тут — война. Подперли «особняк» со всех сторон шпалами да кое-как утеплили.

А хозяев тут набиралось больше, чем в каком другом доме. Четыре крыльца, четыре коридора, и каждый — на три квартиры. Против крылечек — по три печки на деревянных подставках. Когда-то в летнюю пору, бывало, далеко от двора запахи разлетаются. Одна хозяйка суп с гусем варит, у другой — галушки, а третья как заправит картошку-толченку сальцем с поджаренным луком, — голодному от одного духа упасть можно.

Но с войной часть квартир в бараке опустела, в кастрюлях летом булькают борщи из молодой лебеды, и на сковородках, на горячих плитах жарят хозяйки картофельные драники. А весной, до новины — и на «тошнотиках» из прошлогодней картошки перебивается народ. Голод и не на то еще толкнуть может...

Самый многодетный в доме — Камаледдинов. Но ему прошлый раз отрез материи вырешили. Да и этот праздник у Камаледдиновых не пустой: разжился в колхозе потрохами от прирезанного жеребчика, который ноги сломал.

Слободкин поднялся, поправил все же в лампе фитиль. Одернув телогрейку, сел на скамью и вытащил из коробки ботинок. Постучал по блестящему носку ногтем, заглянул внутрь. Аккуратно уложив ботинок в коробку, вздохнул:

— Че они, не могли еще пары две-три подбросить?

— Ты, Яков, видать, уже слабеть начинаешь, — хмуро усмехнулся Шарапов. — Могли — так, наверно, прислали б. Это, поди, и твоему младшему понятно. Да и то подумать: хоть по одной паре на полустанок — это сколько ж ботинок на страну надо! — Мастер помолчал, передвинул в руках баночку с табаком, вздохнул: — Что ж делать будем, мужики?

Слободкин заметил:

— Да, тут, язви его, точно стрелять нужно. И опять же — хоть разорвись... Может, Шурке-сиротке? Там же, видишь, одни пенсионеры в дому да еще он — ижди-венец.

— Прошлый раз штаны ему вырешили, — напомнил Калиткин. — Поди, и дырок еще не протер.

— Так может, все-таки Варнаковым?

Мужики замолчали, прикидывая права и возможности дома Варнаковых, стоявшем на отшибе, за линией,

где жил, уж точно, боевой народ. Хотя и голодовали Варначата чаще других, но не шибко хныкали, сами еду промышляли. Дома все сундуки, все заначки материны проверят, никакой замок не устоит. Летом и в своем, и в соседском огороде пошарят, сады с черемухой да малиной обчистят, а то соберутся артелью на озеро и ловят сачком рыбную мелюзгу. Улов потом с дракой поделят, и каждый жарит рыбу на костерке, около летней печки у дома, во дворе, открытом для всех ветров и прохожих.

Варначата в мать удались — в тетку Серафиму. С легкой руки деда Помиралки ее звали «Формомбюром». Бедовая была Варначиха. В прошлые времена, еще до войны, бывало, рванет с получки в Узловую, навезет белых булочек, пирожных да пряников. Орава ее все это стрескает за день-два, а уж потом на зубариках щелкает. Любила тетка Серафима и поговорить, других обсудить. Уйдет за линию, к колодцу, поставит ведра под срубом, а сама — в станционный дом, лясы с бабами точить. У одной хозяйки посидит, у другой, а ведра все стоят сохнут.

Но была Варначиха лучшей ягодницей на всю округу, за что и прощали ей бабы длинный язык. Уж если возьмет с собой в лес, — ведро, а то и два ведра голубики наберешь. Хочешь — сам ешь, а нет — свези в Узловую, продай или на хлеб обменяй.

В доме за линией еще была квартира Ломовых, но теперь она заколочена: Гаврила — в тюрьме, а Семушка живет в интернате. Вспомнив про него, Слободкин кашлянул в кулак, сообщил:

— Этот раз в Узловой с Семушкой свиделся. И подрасти, вроде б, совсем не подрос малец, а вот уже токарничать собирается в паровозном депо. На токаря-монтажника учится.

— Поди, из-за станка и не видно? — покачал головой Калиткин. — Еще и не жил парень, а уж лиха хватил...

— Вырастет! — уверенно сказал Шарапов. — Крепче будет.

И опять мужики замолчали.

— Дожили, черт побери, — усмехнулся Калиткин. — Одни ботинки втроем разделить не можем. Кто б мог подумать, что таким делом всурьез заниматься буду?..

Они переглянулись, разом перенесясь в недавнее былое, вспомнили, как перед праздниками накрывали столы, как одевались и обувались в довоенное время. Тогда связками можно было брать и ботинки, и сандалии, и модные туфли из белой парусины. Тогда и премии давали отрезами, и вагон-лавка приезжала с товаром...

— Ничего... — сказал мастер. — Вот совсем поприжмут их наши, кой-кому потяжельше задачку решать доведется. — Он поднял голову, глянул на Слободкина. — Слушай, Яков! А давай твоим пацанам эти ботиночки вырешим, а? Я же сам видел, как твой младший по снегу босиком...

Слободкин поднял глаза, задумчиво и с недоумением посмотрел на мастера.

— Ты, Петрович, это всурьез?

И сокрушенно повертел головой, — как, мол, можно было такое сказать. Раз доверено других наделять, стало быть, можешь и себе гребануть? Как потом людям в глаза смотреть?

Конечно, с какого боку ни пересчитывай сыновей, пятеро их. Старшему, Кольше, — пятнадцать годов, последнему, Стеньке, — только пятый. Но, опять же, Кольша с Серегой в Узловой уже, в интернате, а там какой ни жидкий суп, а дают. Значит, трое остается. Но и сам же он с ними, и жена Степанида. И оба работают на пути. Живет у них старуха на иждивении, так она главный генерал в доме, незаменимый помощник.

Ясное дело, с обувкой, с одежкой сейчас туговато. Как и всем. Но у них на стайке под матицей еще старая шкура от теленка висит. Ее чуть поддубить, поразмять — и такую обувку выкроить можно — на все лето ребятам хватит.

Нет, нельзя ему, профсоюзному голове, о наркомовских ботинках думать. Есть кто и победнее живет.

— Слушайте, братцы, — вдруг громко заговорил Калиткин. — Всех перебрали, аж башка раскалывается, а ведь если по справедливости решать, ботинки эти Чердымихе вручить нужно.

Слободкин и Шарапов глянули на него с интересом.

— Почему ей, спросите? Давайте по порядку рассуждать... Человек она вакуированный с западу, с-под немца вывезена. Мужик ее воюет, и где он теперь — неизвестно. Рабочая карточка на всех одна, а в семье-то

три иждивенца. Свои парень и дочка, да, заметьте, еще девка приемная. По всему, мужики, козыри за нее получаются...

Шарапов переглянулся со Слободкиным, досадливо крякнул:

— Это как же мы сразу про нее не подумали, а?

— Видишь, новый она у нас человек, — отозвался Слободкин, тоже виноватя себя за промашку.

И все подумали про Чердымиху. На полустанке она, верно, недавно, одну зиму всего. Но и здесь уже беду испытала, натерпелась страху после крушения. А приехала вон откуда, из-за самой Волги. Там тоже на железной дороге работала, дежурной по станции, да немец ту дорогу отсек. Поехала с детишками на Дальний Восток, к родителям мужа, что в Узловой жили. Через огонь пробивался последний тот эшелон. И все ж догнали стервятники, накрыли состав. Соседскую семью убило бомбой, в живых только Люба десятилетняя осталась. Чердымиха девочку с собой забрала. Приехала, а тут старик — свекор ее — возьми и помри. Пошла Чердымиха устраиваться, ее сюда и направили. Тут и работа, и все же огородик имеется. А при своей картошке да на капусте еще как воевать можно...

— Ей-богу, Чердымихиным малым ботинки надо дать, — совсем убежденно сказал Калиткин. — Я тоже всех перебрал. И своих, движенских, и путейцев... Ну, мою семью опускаем. Пронька и Толик — двое всего. Живем, держимся. Нинку дежурную тоже поминать нечего, холостячка еще. Возьмем Чалову Катерину. Тут вопрос, кажись, есть. Ленька и Титок у нее на руках. Но второй парень не в счет, ему эти ботинки до колен. Леньке передать? Но все ж Катерина работает, иждивенцев, выходит двое при ней...

— И помогали им, не раз помогали, — негромко заметил Шарапов.

— Я тоже думаю, что с Чердымихой осечки не будет, — поддержал Слободкин. — Тут же глядите, что еще получается. Она человек у нас новый, вроде как бы сторонний пока, а мы вот вырешим обувку ее детям — и стало быть поймет Чердымиха, она для нас такая, как все...

— А еще и другой каталог есть, — рассуждал Калиткин. — У нее малые в таких летах, что ботинки эти

каждому по ноге будут. Могут даже по очереди носить. Чего лучше?

— Тогда пусть так и будет. — Шарапов закрыл коробку с ботинками и протянул ее Слободкину. — Завтра, как соберется собрание, вручишь подарок. Так верней будет: когда при всех — никто слова против не скажет.

Слободкин сунул коробку под руку, взял со стола лампу, поставил ее в путевой фонарь, и мужики выбрались в беспросветную холодную круговерть.

Сгибаясь под ветром, расходились по своим дорожкам и словно проваливались в темноту. Шагая к дому, Слободкин удовлетворенно думал: «Правильно вырешили. А ботинки Чердымихиным детишкам в аккурат будут. У нее и девки хорошие, и парнишка славный растет...»

Дня через два после праздника выпало Слободкину очередное дежурство. Пройдя половину околотка, он вернулся к станции и присел отдохнуть у штабеля новых шпал. Ветра уже не было и в помине, солнце разливало свет и тепло. Под откосом журчал ручей, ярко желтели барашки на вербах. Теперь уж настоящая весна наступила...

Тут дядька Яков увидел Славку Чердымова. Тот вышагивал вдоль линии со стороны казармы и, высматривая камешки покрупнее, сшибал их блестящим носком нового ботинка.

Слободкин негромко позвал его:

— Славк, а Славк... Поди-ка сюда, поди...

Сунув руки в карманы материной телогрейки, Славка остановился против дядьки Якова, затянутого ремнями, на которых висела коробка с петардами, чехлы с сигнальными флажками. Слободкин не спеша отбросил окурок, уже обжигающий губы, подманил Славку ближе и, потянувшись, вдруг крепко ухватился за Славкино ухо.

— Ты что это делаешь, сопля воробьиная?

Обалдев, Славка пытался вырваться, но Слободкин, не выпуская уха, еще строже спросил:

— У тебя что на ногах? Ну!

— Б-ботинки... — пискнул Славка.

— Ботинки? Ботинки, говоришь? — Заскорузлый,

темный, не раз битый молотками и часто мерзший палец дядькй Якова приблизился к Славкиному носу. — А знаешь, что это сам нарком на тебя их обул!? А знаешь, что перед этим на них кожу выделывали, потом шили, потом к нам везли, а тут, понимаешь, их цельный вечер делили! А для чего, спрашивается? Чтоб ты этими красавчиками камни пинал?

Славка жмурился, морща нос. Слободкин поприжал его ухо и, выпуская, пригрозил:

— Еще хоть один камешек пнешь — совсем уши оторву. Оба .два сразу!

Славка так рванул от Слободкина, что только балласт зашуршал под ногами. Перескочив по мостку за канаву, он пробежал мимо станции, и только завернув за угол, остановился перевести дух. Посмотрел на свои наркомовские ботинки, но ничего особого в них не увидел, хотя даже ногу поднял и посмотрел на подошву, где были выбиты цифры. Недоумевая, он осторожно высунулся из-за угла. Дядька Яков, закинув за спину молоток и ключ, неторопливым шагом, рассчитанным на долгую дорогу, шел вдоль линии дальше...

ВЗРЫВ

Весна сорок пятого, не в пример прошлогодней, началась как-то сразу. Сначала март повыел сугробы, потом апрель затренькал капелью, подчистил снег в теневых местах, и вся земля оголилась для солнца. По теплу над пригорками парило, а низины и пади заполняла вода. Около нее кружились плаксивые чибисы, пролетали стаи уток, гусей, и длинноногие цапли, лениво помахивая полотенцами-крыльями, выбирали себе места для постоя.

Хозяйки на станции и на казарме повытаскивали вторые рамы, промыли стекла, и во всех квартирах стало светлее, просторней. А ребятню в эти погожие дни тянуло на улицу, к играм, в походы по линии, за выемку, в отогретые сопки за деревней...

Хорошим, распахнутым днем в дорогу отправились Петька Варнаков, татарчонок Камаледдинов Загидулла и Илюха Слободкин. Илюха и Загидулла — в солдатских пилотках, на плечах у одного телогрейка, у другого — старая материна жакетка. Петька был в нераз-

лучной своей бескозырке, в черной железнодорожной тужурке отца, старых солдатских галифе и стянутых кусками телефонного провода полуразвалившихся ботинках. На плече он нес противогазную сумку с десятком картошек: боевая троица собралась не близко — на полигон.

Конечно, ходить туда строго-настрого запрещалось, но вот уже второй месяц на полустанке не слышали оттуда стрельбы и пошел слух, что в сопках никого уже нет. Так почему бы не пошнырять в новых местах? Там, поди, много чего интересного. Ребятишки своими глазами видели, как буксировали на полигон настоящие немецкие танки с крестами. Волокли их на стрельбище, чтобы проверить на броне силу наших снарядов. Разве ж не охота узнать, что от тех танков осталось?

Вообще-то, в поход собиралось больше народа. Вот Ленька Чалов хотел сходить. Но в тот день его мать поехала в Узловую, с письмом к военкому. Ленька и остался за няньку, и за хозяина. А с Титком на руках много не находишься. У других ребят тоже всякие причины нашлись. Потому и пришлось втроем отправляться.

Широкая дорога со следами танковых гусениц километра два вела ребят по равнине, среди покосов. За ними начались голые перелески, дорога спустилась в распадок, потом, кособочась по склону сопочки, выбралась наверх. И тут путешественники увидели на столбе большой щит со словами, написанными красной краской: «Стой! Опасная зона! Проход категорически запрещен!»

Загидулла показал пальцем на щит:

— А нас тама не отлупят?

— Кому ты нужон! — усмехнулся Петька. — Давно ж это писали. Теперь и нет там никого...

Илюха тоже малость засомневался, но Петька и его засмеял. Да и жалко было возвращаться, когда уж столько прошли.

Раньше сюда никто из них не ходил, и места открывались интересные. Сопки, исчерченные танковыми следами, все ближе подвигались к дороге, то и дело встречались непонятные указатели с цифрами, вокруг густели рыжие дубняки. Хотелось быстрее увидеть, что за следующим поворотом.

Поднявшись еще на одну сопочку, они оказались у развилки дорог. Тут тоже был вкопан столб с указателем: «Стрельбище». Петька решил:

— Айда, ребя, куда стрелка показывает!

— А другой дарогам куда идет? — поинтересовался Загидулла.

— Куда-куда... — проворчал Илюха. — К блиндажам, наверно, где танкисты жили.

— Ага! — уверенно подтвердил Петька, будто он каждый день бывал в здешних местах. — У них в сопках, сказывали, блиндажи, склады с боеприпасами, столовая, кухня...

Шагая с разговорами, ребятишки тянули шеи, выглядывая стрельбище. И не заметили, что дорога «разъехалась» на множество следов. Они оказались среди больших темно-зеленых щитов, среди разбросанных по равнине фанерных танков.

По неровной, изрытой снарядами целине подошли к двум мишеням. Стали разглядывать длинные тросы, шкивы, шестерни и рельсы, по которым оказывается, эти фанерные танки катали. Поглазев еще на мишени, пошли между рельсами дальше и почти у края равнины увидели настоящие танки с крестами.

— У-у, шайтан! — глядя на кресты, пробурчал Загидулла. — Немчуки проклятый!

Танков было семь штук. И ни одного целого. С шести машин страшная сила посрывала башни, теперь лежавшие в траве с задранными вверх или воткнутыми в землю стволами. У некоторых «немчуков» распустились порванные на куски гусеницы, поразлетались искореженные катки и наизнанку были вывернуты моторные отсеки. В их глубине блестели шестерни, валики, трубки — мудреное, непонятное устройство. В бортах железных громадин темнели дыры с рваными краями.

Ребятишки таращились на пробоины и вмятины, на задранные, изогнутые броневые листы. Загидулла заглянул в одну дыру, в другую, покрутил головой:

— Ай харашо стырлял! Прама шайтан-сила!

А Петька уже высмотрел не так изуродованный танк со скособоченной башней и быстро взобрался наверх.

— А вы, — закричал он с башни, — выбирайте себе, какой хошь... Нечего всем на мой танк лезть!

Илюха с Загидуллой кинулись к другим машинам.

Попрыгали на остатках сиденьев, потоптались на броне, пригретой солнцем, потом разглядели блестящие штуковины неизвестного назначения. Все понабрали больших железных шаров, на которых раньше, наверно, поворачивались башни. Набрали и аккуратных, похожих на бочонки, роликов, целых подшипников, кусочков плексигласа, разноцветных проводов, шестеренок и глазков с приборных досок. Так нагрузили карманы, что пришлось штаны руками придерживать.

Лучше всех Петьке — у него же сумка. Пока Илюха с Загидуллой перетрясали и заново укладывали в карманы свои находки, он с башни разглядывал округу. Вдруг за недалекими кустами Петька увидел темно-зеленые фигурки солдат в касках и с автоматами через грудь.

— Гля, ребя!

Загидулла с Илюхой быстро забрались на башню, тоже увидели солдат, сыпанули с танка и, придерживая штаны, кинулись к ним.

За кустами, на ровной поляне, подходившей к бугру, оказалось еще одно стрельбище. По всему откосу бугра, среди реденького кустарничка были расставлены фигурки солдат в касках — и в рост, и до пояса, поодиночке и кучками. А с другого края поляны тянулась траншея с бруствером, с выступами и гнездами, над которыми торчали указатели: «Автоматчики», «Станковый пулемет», «Снайпер», «Линия гранатометания».

Ребятишки потоптались возле фанерной фигуры, сплошь изрешеченной, перешли к другой. И тут глазастый Илюха вдруг закричал:

— Ребя, гляди-и! Тут пуль мильен понасыпано!

Глянув под ноги, и Петька с Загидуллой увидели пули. Винтовочные, с аккуратно-округлыми боками, коротенькие автоматные, крупнокалиберные и еще какие-то желтенькие, длинные, с темно-красными и белыми концами.

Из пуль разъездовские охотники выплавляли свинец. Собирали его по капельке и делали дробь. Но чтобы приготовить пять-десять зарядов, надо было не один час просидеть перед печкой. Да и где много пуль сразу набрать? И тут, увидев такое богатство, Илюха Слободкин даже взвизгнул от радости.

— Вот это да-а, ребя! Вот свинцу налью бате! — Сняв пилотку, он стал складывать в нее пули, выбирая покрупнее. — Теперь и на картечь, и на утиную дробь хватит...

Находке обрадовался и Петька Варнаков, хотя у них в доме уже и старой одностволки не осталось. Прошлой осенью сам Петька разобрал ее до последнего винтика, разложил детали, а потом убежал по каким-то делам. Когда хватился собирать, — половины частей не оказалось. Да к тому ж Юрка успел втолкать в ствол толстенную палку. Стали ее выколачивать — оторвали выбрасыватель.

Но что — ружье! Тут главное от других не отстать. А пули потом и поменять можно.

Излазив бугор за мишенями, ребятишки вернулись к траншее. Усевшись на сухом бруствере, стали перетрясать новые трофеи. И тут, разглядывая крупнокалиберную пулю, Илюха спросил:

— А эта... Она в огне не жахнет?

— Они же стреляные, — возразил Петька. — Уже, видишь, жахали.

Но Илюха заглянул в неглубокую впадинку в донышке пули и не очень уверенно сказал:

— Ты этого, Петька, не знаешь. Я вот читал... Бывает, вылетит снаряд из ствола, летит, летит, упадет на землю, а не взрывается.

— Хо, сравнил! — усмехнулся Петька. — То снаряд, а то пуля.

— Все равно, — сомневался Илюха. — Пуля тоже может не разорваться...

Петька шаркнул под носом рукой.

— Ништяк все! Счас вот костер разведем да и кинем по горсти в огонь. Тут и увидим, какие они, эти пули...

— Только сперва картошка пекти будем! — заторопился Загидулла.

Стали собирать траву, сухие веточки, щепки. Потом Петька достал свое огниво — увеличительное стекло, выдрал из телогрейки Илюхи клок ваты, обернул его бумажкой и, поворотясь к солнцу, поднял стекло над ватой.

Скоро костер разгорелся, и в самое жаркое место ребятишки высыпали картошку. Шмыгая носами, перево-

рачивали ее прутиками, подталкивали к жару и ждали, теперь особенно остро чувствуя пустоту в животах.

Когда картошка испеклась, выбрали ее на развернутую телогрейку, сдвинули горячие головешки в кучу и сыпанули в огонь по горсти пуль. А сами, подхватив телогрейку с картошкой, кинулись в траншею, на дно. Устроились там, разделили картофелины и соль, тоже взятую Петькой. Посыпая солью, выедали белую, рассыпчатую сердцевину картофелины, до подгорелой корочки, а потом приканчивали и ее.

Управясь с картошкой, переглянулись: пули-то не рвутся. Значит, ничего и нет там, кроме свинца.

— Говорил же! — поднимаясь, проворчал Петька.

Он хотел уже выбраться из траншеи, но тут в костре что-то треснуло. Потом еще и еще.

Ребятишки осторожно высунулись из-за бруствера и увидели, что после каждого треска в костре что-то подпрыгивает, отлетает, а еще вспыхивают разноцветные огоньки.

— Гля, какой ферферк! — восхитился Петька и пояснил: — Ферферк — это по-немецки. Мне один солдат говорил в деревне, когда из ракетницы в небо пулял...

Скоро трещать перестало. Костер почти угас. Ребятишки раскидали угли и, затаптывая их, увидели в золе капли свинца и пули с разорванными хвостовиками, почерневшие и вовсе неинтересные.

— Ну и ферферка! — сощурился Загидулла. — Кастер раскидам — всо бером папалам...

— Че пополам? — не понял Илюха.

— Свинца папалам... Смотри!

Загидулла опять высыпал из своей пилотки пули и начал отбирать только винтовочные и автоматные. На траве остались трассирующие и крупнокалиберные.

— Во! Ну их к шайтан! — облегченно сказал Загидулла. — Зачим такой дамой таскать!

Сделали пересортировку и Петька с Илюхой. Но Петька кое-что оставил себе — чтоб потом около дома устроить «ферферк».

Собравшись домой, они пошли вдоль траншеи. И тут Загидулла, разглядев в небольшой нише какие-то доски, спрыгнул в траншею. Это были остатки деревянного ящика. Потянув доску, он вдруг увидел в глубине полузасыпанную землей гранату-лимонку. Оторопев, Заги-

дулла так и сел, не решаясь протянуть руку. Но увидев, что Петька уже нацелился прыгнуть в траншею, сам схватил гранату.

Поднявшись наверх, Загидулла вместе с дружками стал разглядывать находку. Илюха тоже подержал гранату в руках, поглаживая ее ребристую поверхность, щупая скобу и торчащий сверху штырек с дырочкой, через которую проходил шплинтик с кольцом и разведенными в разные стороны усиками.

От Илюхи граната перешла к Петьке. Тот покрутил ее, покрепче зажимая в ладони, предложил:

— Давайте зашвырнем ее, а? Вот, поди, жахнет!

— У-у, какой! — ощерился Загидулла, хватаясь за Петькину руку. — Сама находи, сама потом кидать будешь...

Петька, отдавая гранату, криво усмехнулся:

— Тащи, тащи. Подумаешь, хозяин нашелся...

Прямиком через кусты они выбрались на дорогу. Петька и не смотрел на Загидуллу, рожица которого светилась гордостью и довольством. Илюхе не хотелось, чтоб Петька с Загидуллой ссорились, и он быстро заговорил:

— Че ты, Петька, дуться-то начал... А знаешь, сколько рыбы можно наглушить этой гранатой? Я вот видел, как солдаты глушили ее на Длинном озере. Головой шашкой. Он, значит, шнурок поджег и ка-ак кинет ее на середку! Шашка потонула, а потом ка-ак рванет! И набрали солдаты целый мешок сомов, косаток да карасей во-о каких!..

Петька глянул на Илюху, на Загидуллу, вяло возразил:

— То шашка, а то граната...

— Гранатой, Петька, че хочешь подорвать можно!

Загидулла быстро поглядывал то на одного, то на другого и понимая, что судьба его находки почти решена, тоже встрял в разговор:

— Длинный озеро летом ходить будем. Зачим быстро кидать ее? Бух — и нету. А так вот она, здеся. Играться можно!

Петька косо посмотрел на него.

— Видал жмотика? С этим порыбачишь...

Но путь был дальний, а обида долго не держалась. К покосам вышли, уже дружно обсуждая детали будуще-

го похода на Длинное озеро. А пока нужно было хорошо спрятать находку, узнать у дядьки Фрола или еще у кого из мужиков, как поудачнее грохнуть и что для этого нужно сделать с гранатой.

Солнце уже подбиралось к закату, когда они добрались до казармы. Между домами на укатанной дороге слышались крики и смех: мелюзга играла волосяным мячом в «высокого дуба». А у крыльца Слободкиных собрались ребята постарше. Были тут Илюхины братцы, Ваня Колесин, станционные Ленька Чалов, Пронька и Толик Калиткины, одетые в чистое. И Петька это сразу заметил.

— Че эт вы вырядились?

Оказалось, что в деревню привезли кино и скоро будут показывать. Последний раз кино они смотрели еще зимой, и потому путешественники обрадовались. А пока стали выкладывать на завалинку трофеи — шары и ролики, подшипники, цветные проводки, пружины, трубочки. Находки вызывали всеобщую зависть. Петька было уже потянулся рукой в сумку с пулями, но тут заметил идущую от сараев бабку Слободкиных — старуху высокую, строгую. Задыхаясь от ходьбы, она остановилась около табунка, подозрительно оглядела всех:

— Чего еще затеваете? Га?

— Мы ничего, баба, — торопливо отозвался Илюха. — Мы вот игрушки показываем...

— Еще железяк понаперли, — глянув через головы на завалинку, проворчала бабка и покосилась на внука. — А тебя где черти с утра носят? Опять, поди, в сопки шлындали? Га?

Илюха виновато набычился, молчал, но бабке некогда было дожидаться его признаний. Тяжело переваливаясь, она пошла дальше к крыльцу, наказав:

— Смотрите, чтоб без озорства тут!

Илюха притащил из летней кухни чугунок с треснувшим боком и стал высыпать в него самое драгоценное — пули. Увидев их, все притихли, широко раскрытыми глазами заглядывая в чугунок.

— Во! — освободив карманы, сказал Илья. — Свинец теперь лить будем...

Петька, растопыривший свою сумку для показа, шмыганул носом и, загадочно щурясь, сообщил:

— У нас и еще кой-чего есть. — Он подтолкнул

локтем Загидуллу, который ждал своего часа в гордом молчании. — Ну? Или опять жмотишься?

Под взглядами нетерпеливых зрителей Загидулла вытащил гранату. Ребята замерли, не отрывая глаз от ребристого темного бока с железной скобой. Загидулла ухмыльнулся, подбросил гранату на руке.

— Видал, чего мы находили?

Ребята молчали. Лишь Толик Калиткин, осмелев, провел пальцем по разрезу и прошептал:

— Востренький!

Растерянный Пронька посмотрел на Петьку, на Илюху, переглянулся с Ленькой и, озабоченно хмурясь, сказал:

— Даете вы... И чего с ней делать?

Петька с Илюхой начали было рассказывать про рыбалку на Длинном озере, но тут из-за угла дома вышел Митяй Будыкин. Он только что помогал матери вскапывать грядки, руки его были запорошены землей, и одет Митяй был по-рабочему.

За последнюю зиму Митяй крепко вытянулся и раздался в плечах. А после отъезда в интернат Юрки Шарапова, Амоса и Семушки он остался самым старшим из ребят полустанка, и с ним приходилось считаться. Задирать Митяя в одиночку никому не хотелось — уж больно крепкую получишь подзатылину...

Ребятишки расступились перед Митяем и выжидающе примолкли. Тот сразу увидел блестевшие на завалинке железяки, повертел в руках шары, подшипник, потом запустил руку в чугунок и, пересыпая пули сквозь пальцы, склонив чубатую голову, вприщурку глянул на Петьку, на Илюху:

— А глаза ими не вышибет?

— Проверяли уже... — буркнул Петька.

— И где вы это нашли, огольцы?

— Они на полигон ходили, — объяснил Пронька. — Ты смотри, чего еще притортали. — Он повернулся к Загидулле. — Покажи-ка...

Понимая, что противиться бесполезно, а то находку могут просто отобрать, Загидулла протянул Митяю гранату. Тот забрал ее в свою замазанную землею ручищу, повертел и, скрывая удивление, спросил:

— И че делать с ней будете?

Тут вперед выступил Илюха.

— Че-че... Рыбу глушить будем. На Длинном озере. Понял? Она как рванет — по ведру на брата наберем. Пойдешь с нами?

— Рыбу? — Митяй усмехнулся. — Ну вы балды прямо! Она же, скорей всего, учебная...

— Учебная!.. — протянул Петька, поправляя на голове бескозырку. — А ты их видел, учебные-то?

— Ты гляди, гляди! — затормошился и Загидулла, который уже опасался за свою находку. Он подступил к Митяю, не выпускавшему гранату из руки. — Вот видал — на ней железяки какой ребристый. Как картинкам бывает, видал? И вот этат, этат штуковина шеволится вот... — Загидулла нажимал на штырек, а пальцами другой руки начал поворачивать и дергать кольцо. — Вот, видишь? А ета вот ее не пускат, шайтан...

Петька только теперь увидел, что на шплинте один усик уже обломан, а второй почти совсем распрямился. Обеспокоенный, он встрепенулся и крикнул:

— Ты че его крутишь? Ты че, Загидулла?

Ему бы кинуться, придержать усик! Но через секунду было уже поздно... Чека выскочила из гнезда, штырек вдвинулся внутрь, и все услышали легкий щелчок.

В эти мгновения, из которых собирались секунды, они почувствовали близость страшной опасности, от которой нужно было бежать. Братаны Илюхи Слободкина кинулись в дверь летней кухоньки... Отскочив, грохнулся за крыльцо Пронька... В сторону переезда шустро побежал его брат Толик...

Но острее всех близкую беду почувствовал Митяй, который еще держал гранату в руке. Он больно оттолкнул Загидуллу, откинул руку, оглянулся, глазами отыскивая безлюдное место, куда бы можно забросить эту страшную штуковину. Но с одной стороны поднималась стена дома, на дороге напротив суматошилась в игре мелюзга, вокруг разбегались ребята, а у дальнего крыльца разговаривала с соседками его мать... Все это как молния пронеслось в голове, и Митяй, глянув на Петьку с безысходной тоской, крикнул:

— Бегите же, черт вас! Чеши!!!

С этого момента все показалось Петьке тяжелым сном... Краем глаза он увидел, как за штабель из ста-

рых шпал метнулись Ленька Чалов и Загидулла, в коридор, мимо Вани Колесина, с крыльца глядевшего на деревню, вбежал Илюха Слободкин. И сам он побежал, и достиг угла летней кухни, но ноги стали как чугунные, и Петьке казалось, что бежит он страшно медленно... Он еще оглянулся в тот последний миг, когда Митяй, как-то неловко согнувшись, резко наклонился вперед. Тут-то тугим напором воздуха и ударило в землю у ног Митяя, вздыбив пыль, пламя, дым. Митяя приподняло неведомой силой, полуразвернуло, и тут же он рухнул, выкинув руку...

Только тогда Петька услышал грохот — оглушительный в спокойной тишине апрельского предвечерья. Зазвенели разбитые стекла, что-то сухое, горячее опахнуло Петькино лицо и резко толкнуло в плечо. Глянув на длинный косой разрез на тужурке, не почувствовав боли, он мельком подумал, что ему еще мало досталось. Оглядевшись, увидел белое лицо Вани Колесина. Тот все еще стоял на крыльце и теперь с удивлением глядел на упавшего Митяя, на его укороченную руку с безобразно торчащей белой костью, не замечая, что у самого из-под обоих пробитых штанин на доски крыльца густо стекает кровь...

И еще Петька заметил, как у переезда с тонким вскриком свалился Толик, а из коридора, закусив губу и сдерживая крик боли, волочит перебитую ногу Илюха. К нему заторопились вылезшие из дверп кухни братья. Выбрались из-за укрытий Пронька, Загидулла, Ленька Чалов — все бледные, растерянные, еще и не понявшие всего происшедшего. И только теперь Загидулла увидел Митяя, черную лужу под ним. Глаза его стали круглыми, он дико закричал и кинулся через дорогу к своему дому...

С разных сторон к казарме бежали люди — растрепанные кричащие женщины, мужики с потными сердитыми лицами. Матери находили своих детей, припадали к ним, ощупывали, заглядывали в лица, и убедившись, что они невредимы, торопились туда, где уже голосили другие. Одна кучка людей толклась рядом с крыльцом, где лежал без сознания Ваня Колесин. Из его пораненных ног хлестала кровь. Распоров штанины, мужики тряпками перетягивали ему ноги. А на самом крыльце стонал на руках бабки Илюха с перебитой го-

ленью. На откосе переезда бинтовали Толика: уже у линии настигли его осколки — один впился в плечо, другой — в бедро над коленом. Отталкивая ревущую мать Калиткиных, мужики и бабы рвали чью-то простыню, накладывали тугие повязки, нет-нет да оглядываясь в сторону дома. Там под стеной билась над изуродованным телом Митяя его мать — тетка Настасья...

Кто-то позвонил в Узловую. Задержав очередной состав, оттуда прислали мотриссу с врачом и двумя медицинскими сестрами. Они сделали уколы, поправили повязки и с помощью взрослых стали сносить раненых в мотриссу.

И тут запомнилось Петьке... Когда понесли носилки с Ваней Колесиным, он открыл вдруг глаза. Затуманенно посмотрел на шедшего рядом отца, разлепив губы, сказал:

— Я, пап, теперь знаю, какая она...

Отец встревоженно склонился к нему:

— Что ты, сынок? Что, Ваня?

— Она, пап, больная... война...

И застонав, Ваня умолк, опять впав в забытье.

В мотриссу отнесли и тело Митяя, накрытое простыней. Мужики держали рвущихся в дверь матерей. Оторвав от поручней чьи-то руки, последним в мотриссу заскочил врач. Он приказал немедленно позвонить в больницу, чтоб подготовили операционную. Мотрисса тронулась и, набирая скорость, понеслась на закат...

Хоронили Митяя тихим солнечным днем. На кладбище пришли все разъездовские, деревенские бабы, мужики, ребятишки. Даже дед Помиралка кое-как на бугор взобрался. Стоя у конца могилки, слабой рукой держался за красную тумбочку и обессиленно плакал. Женщины поддерживали кричащую в голос тетку Настасью. Мужики, прихлопывая лопатами, ровняли сырой холмик могилы, а над кладбищем синело чистое небо и плыли белые облака.

Вминая култышкой талую землю, к могилке подошел председатель колхоза Фрол Чеботаров. Он вставил в верхушку тумбочки штырь со звездой, вырезанной из листового железа. Покрепче вдавил звезду, оглядел всех и, склоня голову, негромко, вроде как самому себе, сказал:

— Что ж, Дмитрий... Иному солдату подвиг за много боев не дается, а кто другой в самом первом покажет себя. Так что спи, родной ты наш, и пусть земля тебе будет пухом...

Женщины плотнее окружили Митяеву мать и медленно, осклизаясь среди низкорослых густых дубков и крестов, почерневших от времени, стали спускаться с кладбищенского бугра.

Глянув еще раз на могилу, на памятник и звезду, Петька тоже двинулся за дружками, тихими в непривычной печали. Впереди шмыгал носом Шурка Орлов, рядом с ним, сунув руки в карманы, понуро шагали Ленька Чалов, Загидулла, Демка с Тараской, ребята Слободкины, Пронька... Сторонкой от них, ближе к женщинам держались девчонки, а сразу за взрослыми шли Юрка Шарапов, Семушка и Амос, вместе приехавшие из Узловой. Как и Юрка, Амос был одет в темно-синий бушлат с петличками на воротнике и железными буковками «Ж. У.». Петька уже знал, что это эмблемы железнодорожного училища, где брат учится на слесаря по ремонту паровозов.

Амос и Юрка совсем были не похожи на тех, какими Петька знал их раньше. Вчера, приехав, Амос оглядел знакомую с детства квартиру и, закурив тоненькую папироску, с укором глянул на младшего Юрку, на Петьку.

— Вы бы хоть чуть-чуть матери помогали да сами за порядком смотрели бы тут. — Амос переглянулся с Семушкой. — У нас в училище с такой грязью они бы месяцами в неурочный наряд ходили...

На радостях от приезда брата Юрка вытащил откуда-то двуствольный поджиг-наган и стал было хвастаться. Но Амос забрал наган, рывком свернул с него трубки, а ручку, над которой братец потел не один день, бросил в печь. Юрка чуть не завыл от горя, но Амос строго глянул на него:

— Мало вам покалеченных?

Юрка виновато затих, а Амос помолчал, думая о чем-то, шумно, по-взрослому вздохнул:

— Надо ж было додуматься до такого... Гранату в поселок приперли! Уж тебе, Петро, пора бы башку на плечах иметь? Или других дел нету? Не маленькие, поди...

Петька совсем расстроился. Говорил бы такое отец, дядя Яша Слободкин или еще кто из мужиков. А тут — Амос.

Не знал старший брат, что жить Петьке и так невмоготу. И вовсе не от царапин на плече от осколка. Все эти дни после взрыва казались ему каким-то кошмаром. Вот и сейчас, все больше отставая от идущих к разъезду людей, он неотступно думал о происшедшем. И, то ли пробуждаясь, то ли проваливаясь в черноту, вспоминал тот проклятый день, поход на полигон, и тот миг под стеною дома. Вспоминал уходящую к закату мотриссу, лица мужиков, допрашивающих его с Загидуллой, своего отца, отвесившего ему такую затрещину, что в голове зазвенело. Но и не от этого было больно. Вместе с другими ребятами в тот вечер допоздна просидел он на станции, ожидая сообщения из Узловой. И ушел только в полночь, когда сообщили, что операции сделаны всем и все жить будут.

Вспоминал, как к обеду на другой день на полустанок приехали два офицера-танкиста. Вместе с мастером они потребовали к себе Загидуллу, крепко выдранного отцом, и опять его — Петьку. Долго допрашивали про поход, ругали за самовольство. Седой майор заставил Петьку скинуть тужурку, осмотрел его рану, со вздохом сказал:

— В рубашке парень родился. — И посмотрел с грустью Петьке в глаза: — Знаешь ли ты, что было б, пойди этот осколок чуть ниже?

Потом офицеры забрали все пули и уехали на полигон, где, оказывается, оставалось отделение охраны. Вечером, вернувшись, танкисты собрали в красном уголке всех, кто был свободен.

Майор говорил про горечь утраты, виноватил и взрослых, и пацанов.

— Боевая граната на огневом рубеже осталась случайно, — хмурясь и не выпуская из рук папиросы, говорил он. — Мы найдем виновного, крепко накажем. Но на стрельбище могут оказаться и неразорвавшиеся снаряды. Ходить там категорически запрещено. Даже солдатам! А гражданскому населению к месту стрельб и приближаться нельзя. Не зря же строгий указатель там поставлен...

И еще сказал усталый майор:

— Потерпите, товарищи... Отдадим мы вам те места. Вот закончим свои дела, саперы с миноискателями проверят всю территорию, и будете собирать там ягоды, охотиться, дрова заготавливать...

Закурив, мужики окружили танкиста, заговорили про фронт. Майор сказал, что победа теперь уже совсем близко. На западе наши везде наступают и бои идут не где-нибудь, а в Германии, в самом Берлине...

А на другой день военный студебеккер привез из Узловой Митяя в красном гробу. В квартиру Будыкиных сходили почти все с полустанка. Петька на всю жизнь запомнил спокойное, совсем взрослое лицо Митяя с крапинами ожогов, свечи у изголовья гроба, закрытое зеркало, тихо плачущую тетку Настасью, неотрывно глядящую в лицо сына, младшую сестру Митяя Наташку...

Вспоминая все это, чувствуя в голове шум и боль, Петька еще сильнее думал над одним вопросом, на который, знал он, теперь никто уже не сможет ответить. Еще тогда, глядя вслед уходящей мотриссе, он вдруг подумал о той секунде, когда, наверно, смог бы удержать смерть, смог бы спасти Митяя, как тот спас всех. Ведь была же эта секунда, была!

И Петька терзался оттого, что не он, а всегда тугодумный Митяй понял ее... Но зачем он не бросил гранату там же, не побежал, как все?.. Может, подумал, что она не страшная вовсе? Что не будет больно потом?..

Нет, Митяй же знал, что в руке у него не поджиг — граната. Как же он сумел не бросить ее, как догадался накрыть?..

Далекий, знакомый голос издалека пробился сквозь Петькины думы. Он тряхнул головой и увидел впереди Зинку, тоже отставшую от людей.

— Пе-еть!.. Пе-етька-а! — тянула она. — Пойдем к Будыкиным. Тетка Настасья всех ребят звала. Она рисову кашу будет давать! С конфетками. И блины...

Петька остановился. Долгим, непонимающим взглядом посмотрел на Зинку, скрипнул зубами и, махнув рукой, напрямую через покос деда Орлова пошел домой. Плечи его, обтянутые той же тужуркой, рассеченной осколком, вздрагивали, будто пытались вырваться из одежки.

...Воротясь с поминок, мать увидела Петьку на кровати. Окликнула его, потом тихонько подошла и заглянула в лицо.

Сжавшись в комочек, Петька спал, неровно дыша. Лицо его густо усыпали капли пота... Петька зябко вздрагивал, сжимался, пряча руки в ногах и, что-то вскрикивая, протяжно стонал.

ШУРКИНА БОРОЗДА

Сгибаясь под связками сена, по линии к полустанку шли со стороны выемки двое Орловых — дед с Шуркой. Шли они хорошим, по-настоящему майским днем, но Шурка был хмурый. Перебрасывая с плеча на плечо веревку от вязанки, он поглядывал на затылок шагавшего впереди деда и сердито думал: «Устроил вот канитель... Колхозу воз сена отдал, а теперь самим побираться приходится. По старым остожьям Белянке остатки сшибаем. Да разве ж в них сено? Гниль, чернота с плесенью. И за этим вон аж куда ходить надо...»

Но, так вот бурча, усталый Шурка окраинкой души и понимал, и оправдывал деда. Он помнил, как председатель Фрол Чеботаров рассказывал про беду на колхозной ферме. Осенью, в самую сушь, после первых заморозков, от паровозной искры или еще от чего, полыхнул пал и покатился по залинейной равнине с колхозным покосом. Свечечками вспыхивали на нем стожки. И много меньше половины припасенного сена удалось спасти. Вот и пришлось по весне ходить предсе-

дателю по домам, просить помощи. А то коровы с голодухи станут падать. Тогда и отвез дед воз листового, ополовинив остаток стожка возле стайки.

Бабка было запричитала о горькой судьбе единственной кормилицы Белянки, но дед нахмурился:

— Ну-ка, старая, кончь!..

Сердясь, он никогда не говорил лишнего. И бабка больше не причитала, только вздыхала украдкой.

Шурка всегда удивлялся, какой дед крепкий. Вечерами и спину, и руки с трудом разгибает, — а станет к какому делу с утра, так до конца не отрывается. Вот и сейчас равномерно шагает дед, изредка встряхивая на спине обмотанную мешковиной вязанку. «Шагает и шагает... Будто заведенный!» Не желая отставать, Шурка и сам нескончаемо шаркал каблуками по балласту, хотя очень ему хотелось сбросить вязанку, от которой за ворот попадали сухие былинки, щекотавшие потное тело.

Еще выбираясь на линию, он увидел поезд, стоящий перед закрытым семафором. Стоял состав почему-то долго, и теперь можно было разглядеть лицо кондуктора, который покуривал на тормозной площадке последнего вагона. Шурка уже подумал, что им с дедом придется спускаться к откосу, чтобы потом не обходить состав, но тут семафор открылся, паровоз коротко гуднул и состав тронулся, освобождая дорогу.

Вообще-то, Шурка немного надеялся, что у поезда дед остановится переждать, да вот ничего не вышло. И, сгорбясь сильнее, он продолжал шагать, понуро оглядывая с насыпи голые серые покосы, падь, черную после осеннего пала и залитую водой, из которой торчали частые кочки с налетом зелени от подрастающей осоки. «Уж скорей бы новая трава поднималась, — размышлял Шурка. — Тогда и Белянку можно б на пастьбу выпускать».

Вдруг дед остановился, что-то разглядывая. Шурка подошел и тоже увидел — между рельсами лежала островерхая кучка зерна. Не какие-нибудь там озадки, не поскребушки из ларя, а чистенькая, отборная пшеница. Шурка сразу подумал о хлебе, о дедовой крупорушке, давно уже пыльной от бездействия. И даже почувствовал вкус хорошо пропеченной горячей лепешки из настоящей муки. В дому у них давно уже не озад-

ков, ни кукурузной муки, ни сои не было. А есть вот уж как хочется...

— Деда... Это че? — сглотнув слюну, спросил он, оглядев пустынный путь. — Кто ее тут насыпал?

Дед не отвечал, смотрел в сторону станции и дальше по линии. Там, уж у самого горизонта, виднелась черная точечка спешащего в Узловую состава. Вздохнув, дед сошел за бровку пути, опустил свою вязанку у края откоса. Ослабив веревку, начал освобождать кусок мешковины, которую подкладывал, чтобы дорогой не рассыпалось сено.

Шурка тоже сбросил свою ношу, сразу почувствовав необыкновенную легкость в плечах. Поднявшись к куче, захватил горсть пшеницы, набил ею рот и, жуя теплые зерна, разглядел тянувшуюся от кучки дорожку. Сначала она была сплошная и приметная, но дальше пшеница рассыпалась все шире, разбросаннее, и, немного пройдя по линии, Шурка уже едва мог разглядеть зернышки, перемешанные с мелким балластом.

— А я догадался, деда! — воротясь, сообщил он. — В каком-то вагоне есть щель. Через нее пшеница и сыплется. Так?

Дед кивнул, расстилая между рельсами кусок мешковины.

Став на колени, они пригоршнями стали пересыпать пшеницу на тряпку. Как и дед, Шурка зачерпывал ее, подводя горсти одна к другой, но торопился и много зерна сыпалось обратно. Дедовы же большие пригоршни сходились осторожно, наполнялись до краев и ни одно зернышко не просыпалось. Потом дед спустился под откос, вернулся с куском ржавой жести и полынным веничком в руках. Сметая на жестянку остатки пшеницы, перемешанной с балластом, он около мешковины потихоньку провеивал зерно. Камешки падали прямо, а зерно ветер сносил чуть-чуть в сторону, прямо на тряпку.

— Ведра два, поди будет! — обрадовался Шурка, когда работа была окончена. — А молоть ее седни будем, деда? Я покручу крупорушку? Я это вовсю уже умею...

— Смолоть, Шурка, все можно, — негромко сказал дед. — Дело это не мудрое...

Захватив все четыре угла мешковины, он крепко

стянул их крестом. Подняв узел, поднес его к вязанке и увязал вместе с ней.

— Помоги-ка, Шурк!

Поднатужась, вдвоем они взвалили вязанку сена деду на спину, а узел с зерном — на грудь. Дед одной рукой еще и Шурке помог поднять его вязанку, и они пошли дальше.

Когда поравнялись со станцией, дед вдруг свернул к крылечку дежурного. Там, поджидая очередной поезд, стояла Нинка-холостячка — рослая и красивая, с длинными волосами, спускавшимися из-под красной фуражки.

— Ты, дочка, — попросил дед, — позвони-ка в Узловую. Вишь, какая беда... В том составе, что перед этим ушел, какой-то вагон испорчен. А в том вагоне пшеница. Сыплется, понимаешь. Пускай там посмотрят, заколотят дыру. Это ж сколько добра пропадет, пока до места доставят...

— Ладно, дедушка, сейчас позвоню, — пообещала Нинка и, глянув в сторону выемки, из которой выбирался новый состав, скрылась в станции.

— Ну вот, теперь ладно будет, — сказал дед, торопясь перейти линию. — А птицам по стольку рассыпать — больно густо...

Шурку с дедом уже заждались. Пузатая Белянка сразу уткнулась мокрым носом в сено, шумно завздыхала. А работников дома ожидала на столе теплая картошка, политая простоквашей, чашка с капустой, кружки с чаем. Когда Шурка с дедом умылись и сели к столу, бабка достала с дальней полки завернутую в полотенце четвертушку хлебной буханки — черную, ноздреватую, — все что осталось до завтрашнего вечера, до развозки. Отрезала всем по ломтику, остаток завернула и опять спрятала.

Обычно за едой дед негромко переговаривался с бабкой о разных делах и новостях, над Шуркой подтрунивал. Но сегодня он ел молча, старательно подносил ложку ко рту, как всегда, подставляя снизу кусочек хлеба, который почти и не уменьшался. Поэтому и Шурка молчал, хотя ему не терпелось рассказать бабке про находку на линии. «Может, дед хочет бабушке сразу готовую муку отдать? Но такое не похоже на него...»

— Картошек, отец, совсем мало осталось, — сказа-

ла бабка. — Прямо беда... В подполье и лазить не хочется. Окромя семян и нет ничего.

— Семенную трогать не будем, — негромко проговорил дед. — Нонче огород пошире занимать надо. К осени, думаю, едоков в доме прибавится...

Он поднялся из-за стола, у двери снял с гвоздика кепку.

— Я, мать, в деревню схожу. С Фролом потолковать надо.

Выйдя за ним следом, Шурка увидел, что дед выудил из узла горсть зерна, завернул его в носовой платок и положил в карман. Нет, что-то затевает дед, по всему видно.

— Деда! — подступился Шурка. — Я с тобой в деревню пойду?

— А тут управляться кто будет?

— Так я успею...

— Ну что ж, — усмехнулся дед. — Пошли, коль ноги не притомились.

Председателя они застали в конторе. Несмотря на тепло, Фрол сидел за столом в дождевике и фуражке. Подняв голову от каких-то бумаг, он внимательно посмотрел на деда, скользнул взглядом по Шурке и, будто только узнав их, шагнул из-за стола, стукнув деревяшкой.

— Здорово, товарищи железнодорожники! Это какая ж забота вас в колхозную контору привела?

Дед присел на лавку у стены, тронул рукой бороду, усмехнулся:

— Тороплив ты, Фрол...

Председатель чуток вроде смутился, вернулся к столу, достал серый кисет, стал сворачивать цигарку.

— Так время нонче торопливое больно. Я вот только с поля приехал, сводку оттарабанить надо да и опять ворочаться. Сеем, вишь ли какое дело...

— Управляетесь? — осторожно полюбопытствовал дед.

— Крутимся, отец. Самая запарка сейчас. Гусеничников чертовы эмтээсовцы только два дали, а на колесниках не вытянешь. Обещают еще подбросить, а когда это будет? Когда соседи отсеются. Другой раз так замотаюсь, что и вспомнить не могу, вчера было что или это еще сегодняшний день тянется...

Но о своих бедах, как Шурка заметил, председатель говорил с какой-то даже озороватостью, бодро попыхивая самокруткой. Будто даже это не он, а совсем другой человек когда-то приносил к ним в дом ведро озадков. И не было теперь на дядьке Фроле солдатской шапки со щербатой звездой во лбу. Даже рука его раненая теперь шевелилась бойчее.

Поговорив о колхозных делах, дед достал платок, развернул его и протянул председателю.

— Глянь-ка...

Фрол осторожно взял платок, поднес к свету и стал разглядывать пшеничные зерна. Даже зачем-то понюхал их и с удивлением глянул на деда.

— Откуда оно у тебя?

— Да уж не краденое...

Дед рассказал о находке на линии.

— Вот же гады! Вот ротозеи! — стукнув кулаком по коленке, ругнулся председатель. — Тут над каждым килограммом трясемся, а они зерно по линии рассыпают... А знаешь, дед, это пшеничка заморская, — чуток успокоясь, заметил он. — Я как-то читал в газетке, что во Владивосток пришли пароходы с грузами для нас. От союзников. — Председатель еще полюбовался лежащим на ладони зерном. — Крупная, язви ее... Молоть будешь?

Дед нахмурился.

— С таким делом я б к тебе не пожаловал...

— А что ж с ней делать?

— Сеять! — коротко сказал дед.

Фрол тоже вскинулся, распрямился.

— Сеять?.. Эту пшеницу у нас сеять?

— Наша земля, Фрол, — строго сказал дед, — не слабее той, что это зерно поднимала.

— Да я о другом, — смутился председатель. — Ты... Сколько ее у тебя?.. Ведра два, говоришь? Где же их сеять?

— А это пока не твоя забота. Ты дай мне на полдня коня да плуг с бороной.

— Да кто сеять-то будет? Ты, что ли? Так ты же, как говорится, коренной железнодорожник!

Дед усмехнулся.

— Это-то верно. Только вот вы с Шуркой народ грамотный, берите счеты да раскиньте сами. Нынче мне

шестьдесят пятый. Двадцать годов я на железной дороге состоял. Еще восемь лет кладите на империалистическую и гражданскую. Из-за них, мне, язви его, и жениться вовремя не пришлось. Сколько получается? А остальное время с самого мальства я же, как весь наш род, землепашеством занимался. И в Рассее, и в Забайкалье. Вот и считай...

Председатель задумчиво посмотрел на него.

— Ладно, дед, пусть так, — сказал он. — А где ж ты сеять-то собираешься?

— Что у нас земли нет?

— Ну ты, старый, как малый... Есть же указы, есть нормы на огороды для частного сектора. Никто тебе лишней сотки не даст.

— Так это ж на колхозной земле...

— А у тебя что, своя заимелась? — прищурился председатель.

— Мы, Фрол, живем в полосе отчуждения, разве не так? Ай забыл, что по сто шагов от железной дороги в обе стороны казенными называются? Или не знаешь, сколько у нас огородов какой уже год пустует?

— Да знаю, знаю, — хмуро сказал Фрол. — Только чертовщина же все одно получается. В районе твоя посевная, дед, такого шуму наделает, что и зерну не рад будешь. Это же... Понимаешь, как при единоличном хозяйстве все получается. И когда, скажут? В сорок пятом для себя посеял пшеницу старик...

Дед удивленно заморгал.

— Кто тебе сказал, что я для себя? Я эту пару ведер посею, только чтоб твоим мужикам с этой мелочью не возиться. Они ее, пока до поля довезут, половину рассыпят. Уродятся хорошие семена из этой пшеницы, — все до последнего ты их и получишь. А уж когда зерно в мешках будет — тогда и колхозу резон им заняться. Выбрать участок какой и опять отдельно посеять его, на развод...

Председатель крутнул головой, походил по комнате. Посмотрел на деда тепло, с улыбкой.

— Ладно, отец. Приходи утречком. Дадим тебе тягло часа на три. Где пахать будешь?

— Да тут же, за озером.

Председатель вышел на крыльцо, провожая Шурку и деда. Пощурился на солнце и опять улыбнулся.

— Сей, дед, сей... А станут мне голову мылить — буду твоими сынами да орденами отмахиваться.

Домой шли молча. Шурка поглядывал на своего деда, который такое измыслил, что и председатель сперва растерялся.. Ну и ладно, что лепешек не будет, теперь Шурке никак не хотелось отставать от дедовой затеи.

— Пахать-то с утра станем? — поинтересовался он.

— Такую работу завсегда с утра у нас начинали.

— И я тебе подсоблю. До школы, поди, и управимся...

Скосив глаза на внука, дед хмыкнул. Шурка сразу его понял.

— Ты только разбуди меня, ладно? — попросил он. — А то опять скажешь, что жалко, мол, стало...

— Разбужу, как же. Только пахари, Шурк, сами с зарей поднимаются.

Все же дед не сдержал обещания. Совсем рано сходил он в деревню, а когда Шурка встал и вышел во двор, он увидел у ближней, давно брошенной деляны чужого огорода телегу, привязанного к ней невысокого меринка. Дед копошился у плуга. Наскоро ополоснувшись, Шурка заторопился к нему.

Дед уже прицелился начать первую борозду. Увидев Шурку, он как ни в чем ни бывало протянул ему вожжи:

— Ну-ка становись в погонычи, Шурк. Да шибко конягу не дергай.

— А как его зовут, деда?

— Серафим сказывал — Квелый...

Дед захватил деревянную узкую лопаточку с длинной ручкой, лежавшую на телеге среди двух борон, всунул ее куда-то между ручками плуга, взялся за них и кивнул Шурке: начинай, мол... Шурка нн-нокнул, взмахнул вожжами, и меринок, по-колхозному покорный к командам всяких людей, напрягся и потянул плуг.

— Вон на ту метку держи, Шурка, — показал дед на кол, белевший в конце делянки.

Конек, привычный к деревенской работе, почти сам вышел к нужному месту. Шурка повернул к другому краю огорода и по деляне потянулась еще одна борозда — ровная, с пластами отливавшей под солнцем черной земли.

Заходя на второй круг, дед приостановился.

— Теперь, внучек, потяжелей чуток будет. Ты веди Квелого так, чтобы большое колесо плуга у нас точно по борозде шло. Понял? Чтоб конь у тебя не вихлялся от среза...

Шурка кивнул деду, тронул коня, но тот оступился, сорвав срез в борозду.

— Повод, повод короче держи! — посоветовал дед.

Шурка взялся за повод почти у зауздка. Меринок скосил на него глаз, тряхнул головой, заторопился и потянул вдруг от борозды. Виновато оглянувшись, Шурка увидел, как напряглись руки деда, держащие ручки плуга.

— Ровней, ровней держи!

— Он сам дергает так...

— А ты не позволяй ему, не позволяй, — приговаривал дед то ли себе, то ли Шурке. — Вот, во-от, так и пойдет, так и пойдет у нас дело...

Работать погонычем оказалось не так уж просто, как сперва подумалось Шурке. Зевать тут не приходилось. Повод все время нужно было держать накоротке, не давать коню расслабляться и шагать рядышком с ним, стараясь, чтоб нога не попала под тяжелое копыто. А тут еще этот чертов бурьян цепляется за штаны, царапает руки, и пыль из него ноздри забивает. И мелких мушек к коню налетела пропасть. Хотя и не кусаются они, а вьются перед носом, лезут в глаза, в уши. Скоро совсем жарко стало Шурке, а солнце все выше карабкается, уже по-летнему пригревает. И как нарочно — ни ветерочка.

Нелегким делом пахота оказалась... Покрикивая на Квелого, уже залоснившегося от пота, взопревший Шурка глянул на солнце, подумав, что долго еще до школьного часа, когда можно будет покинуть деляну. Но тут же сам устыдился. Деду, вон, тяжелее у плуга приходится. Он еще на третьем круге сбросил пиджак, а теперь и рубашка на плечах потемнела от пота.

После очередного прогона дед остановил коня, сказал Шурке:

— Передохни малость.

Сам он, свалив плуг, стал лопаточкой очищать отвальник от налипшей земли. Потом соскоблил с оси тележного колеса немного солидола и начал подмазывать колеса плуга, которые противно скрипели. Шурка

присел было на узел с зерном, но тут же перехватил укоризненный взгляд деда.

— Вон на телегу сядь. Или на оглоблю. А на хлебе, внучек, не сидят.

— Так это ж зерно только.

— Счас зерно, а потом хлеб будет...

Шурка опустился на оглоблю, оглядел вспаханные полоски с ровными гребешками отваленной земли, из-под которой торчали стебли полыни и бородки рыжей травы.

— Деда, а сеять сразу начнем?

— Пошто ж сразу? — Дед распрямился и тоже оглядел деляну. — Вот вспашем участок, потом проборонним. Как взобьется земля перинкою мягкой, тогда и будем семена рассыпать.

— Как рассыпать?

— Руками, Шурк. Как испокон веку когда-то в Рассее сеяли. Брали лукошко на грудь, становились в ряд и сеяли...

— Ха, деда... У нас и лукошка-то нет!

— Нам оно и не требуется, — усмехнулся дед. — На такую деляну, да на такие семена можно и с фуражкой в руках выходить. Ну, отдохнул?

Шурка пошел было к меринку, но остановился.

— Деда, а дай и я, как ты, спробую, а?

Дед глянул на внука, прикинул высоту его плеч, ручек от плуга, кивнул:

— А что, Шурка... Давай, приучайся к земле.

Шурка ухватился за ручки, поднатужился и перетащил плуг в сторону, нацелив его в борозду. Но дед не торопился погонять лошадь.

— Тут хитрость простая, Шурка. Книзу давить ручки или поднимать их нельзя. Надавишь на подпятник лемеха — плуг из земли выскочит, а поднимешь — зароется глубже. Ты их ровно держи, не давай вихлять по сторонам. Понял?

Шурка кивнул, и дед тронул конька, не отрывая взгляда от внука. Шурка вцепился в ручки так, что побелели пальцы, даванул, и... плуг выскочил из борозды.

— Ты так не тужься, не тужься. Силой да дурью в работе не совладать. Тут сноровка нужна.

Шурка торопливо оттянул плуг назад, поставил на старый след.

— И себя не стискивай так, не стискивай, — наставлял дед. — Плуг сам у тебя пойдет. Только придерживай ровно.

Дед опять тронул коня. С легким шуршанием плуг вошел острым лемехом в землю, и Шурка даже подивился, как, оказывается, быстро наползает и воротником отворачивается пласт. Вот только что сам он, идя рядом с конем, чертыхался на длинность прогона и медленность шагов, а тут совсем дело другое. Хотя и дед не торопит конька и колеса крутятся тихо, а пласт, ну прямо, вроде бы его кто подталкивает, наползает и наползает. Тут плуг вильнул к кромке старого среза, Шурка торопливо дернул за ручки — и вот опять лемех вылез наружу...

— Это ничего, Шурк, — успокоил дед, сдавая лошадь назад. — Сноровка — дело наживное.

Шурке не терпелось посмотреть на первую свою борозду. Но оглянуться он смог только внизу, в конце гона, когда нужно было сворачивать на другую половину деляны. А посмотрев, он даже сморщился от огорчения. Ведь так ровно, казалось, старался держать плуг, а борозда получилась с кривулями и пласты на ней лежали комками. Даже трава торчит не так, как на дедовой пахоте.

— Это, Шурк, ничего, — заводя коня на новый гон, усмехнулся дед. — Сразу не все получается. Человеку в любом деле терпение требуется.

Дед и сам следил, чтобы большое колесо шло точно по борозде, придерживал лошадь где надо, а то подгонял, часто оглядываясь на Шурку, воевавшего с плугом. Вторая борозда получилась лучше, ровнее... А третья и самому Шурке понравилась. Он давно распахнул ворот до пупа и чувствовал, как со лба на землю падают капельки пота. Дело двигалось хорошо. Но на очередном заходе дед передал Шурке вожжи и сам взялся за плуг.

— Тут уже совсем без огрехов заканчивать нужно, — пояснил он.

Вдруг от деревни донесся звук выстрела. Дед поднял голову от плуга. Грянул еще один выстрел, а за ним еще...

— Чего эт они разбаловались? — удивился дед. — Прям канонада...

— Наверно, по мишеням стреляют, — сказал Шурка.

Он стегнул Квелого и повел его к последнему заходу. А в деревне грохотали выстрелы. Потом стали стрелять на казарме, на станции...

И тут Шурка увидел бегущих по дороге ребятишек с сумками, что-то кричащих и размахивающих руками. «Че они, с ума посходили?» — со взрослой серьезностью подумал он.

От кучки бегущих ребят отделились двое. Шурка узнал Цезаря и Тараску Пронова из деревни. Тараска, размахивая прутком, кричал:

— Кончай работу-у! Победа-а!

Дед с Шуркой замерли, ожидая подбегавших гонцов.

— Седни не учимся, Шурка! — орал Тарас. — Нина Васильевна всех, всех отпустила!

— Победа-а! Победа-а! — кричал, не переставая, Цезарь. — Война кончилась!

Дед расслабленно опустил плечи, долгим взглядом посмотрел на село, где, не переставая, грохотали выстрелы, и, смахнув со лба пот, медленно проговорил:

— Значит, одолели проклятого...

— Деда, сбирайтесь в деревню! Сразу айда! — тараторил Тарас. — Так тетка Мария, председательша, сказывала. Митинг там будет! А ишшо велено всем развешивать красные флаги. Всем, всем чтобы...

— Ой, а дядька Фрол чего учудил! — торопился с новостями и Цезарь. — На крыльце конторы на одной ноге пляшет... И руками об пол хлопает. И еще потом пляшет. А сам пла-а-ачит! Как маленький!

— Папка-то наш, — кивнул Тараска, — уже целый патронташ, поди, выпалил. Салют, говорит! И другие все салют делают! Бегите туда, а нам еще вон сколько успеть надо...

Подхватясь, ребятишки кинулись от огорода, прямиком через покос на казарму. Там уже слышалось чье-то веселое пение, громкий говор, голоса, смех. А из деревни, вперемежку с выстрелами, долетали переливы гармошки, о которой в последнее время только по праздникам вспоминали.

И Шурке, переполненному этой всеобщей радостью, так захотелось туда, к людям, чтобы все увидеть, узнать и запомнить, что он даже вздохнул.

— Иди, иди играй, Шурка, — выпрягая из плуга

коня, дрогнувшим голосом проговорил дед. — Седни можно... Святой день седни, внучек...

Шурка вгляделся в деда и в уголке его глаза заметил слезу.

— Иди, Шурк, иди. Седни победа...

— А ты?

— Земля ж у нас вспахана. Зерно сеять надо...

Отбежав немного, Шурка оглянулся на черную, отдающую мягким парком деляну. Около нее оставалась телега, рядом с нею темнели плуг и узел с заморской пшеницей, а дед уже впрягал Квелого в борону...

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ЗА КИСЛИКОЙ-ТРАВОЮ 5
ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ 27
ГОРЬКИЕ ШАНЕЖКИ 43
МУЖИКИ 53
РЫБНЫЙ СУП 63
У РОДНИКА 76
ЖАРКИЙ ДЕНЬ 83
ВЕЧЕРОМ, ПОД ПРАЗДНИК . . . 90
ОШИБКА 104
КРУШЕНИЕ 120
КОНФУЗ 142
БОТИНКИ 151
ВЗРЫВ 162
ШУРКИНА БОРОЗДА 178

Борис Андреевич Машук

ГОРЬКИЕ ШАНЕЖКИ

Рассказы

Амурское отделение
Хабаровского книжного
издательства, Благовещенск,
ул. Ленина, 181

Редактор *М. Л. Гофман*
Художественный редактор
П. К. Пустовой

Подписано к печати 25/V-78. ВЕ01803.
Формат 84×108/32. Бумага типографская № 3. Усл. печ. л. 10,08, уч.-изд. л. 9,82. Тираж 30 000. Заказ № 1646. Цена 60 коп.

Книга набрана и отпечатана в типографии № 1 Амурского областного управления издательств, полиграфии и книжной торговли, Благовещенск, ул. Калинина, 10.

60 коп.

ХАБАРОВСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО